

ПЕТРОНИЙ АРБИТР

САТИРИКОН

Часть сборника: Метаморфозы, или Золотой осел (сборник)

Петроний Арбитр

Сатирикон

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7784336

Метаморфозы, или Золотой осел / Апулей ; [пер. с лат. М. Кузмина, Б. Ярхо].: Э; Москва; 2018

Аннотация

«...Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: „Эти раны я получил, сражаясь за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего“.

Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво-пустых сентенций одна польза: стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще учатся говорить сладко да

гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом...»

Петроний

Сатирикон

1. —...Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: «Эти раны я получил, сражаясь за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего».

Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво-пустых сентенций одна польза: стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще учатся говорить сладко да гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом.

2. Разве можно на такой пище добиться тонкого вкуса? Да не больше, чем благоухать, живя на кухне. О риторы, не во гнев вам будь сказано, вы-то и погубили красноречие! Из-за вашего звонкого пустословия сделалось оно общим посме-

пищем, по вашей вине бессильным и дряхлым стало тело речи. Юноши не упражнялись в «декламациях» в те времена, когда Софокл и Еврипид находили слова, какие были необходимы. Начетчик, не выдавший солнца, еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать Гомеровым стихом. Да что говорить о поэтах! Ведь ни Платон, ни Демосфен, конечно, не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, целомудренное красноречие прекрасно своей природной красотой, а не вычурностью и напыщенностью. Лишь недавно это надутое, пустое многоречие прокралось в Афины из Азии и, словно вредоносная звезда, наслало заразу, овладевшую умами молодежи, стремящейся к возвышенному, и вот, когда подточены были законы красноречия, оно замерло в застое и онемело. Кто из потомков достиг славы Фукидида или Гиперида? Даже стихи более не блещут здоровым румянцем: все они точно вскормлены одной и той же пищей; ни одно не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того как наглость египтян донельзя упростила это высокое искусство.

3. Агамемнон не мог потерпеть, чтобы я дольше разглагольствовал под портиком, чем он потел в школе.

– Юноша, – сказал он, – речь твоя не считается со вкусами толпы и полна здравого смысла, что теперь особенно редко встречается. Поэтому я не скрою от тебя тайн нашего искусства. Менее всего виноваты в этом деле учителя, ко-

торым поневоле приходится бесноваться среди бесноватых. Ибо, начни учителя преподавать не то, что нравится мальчишкам, – «они остались бы в школах одни», как сказал Цицерон. В этом случае они поступают совершенно как льстецы-притворщики, желающие попасть на обед к богачу: только о том и заботятся, как бы сказать что-нибудь такое, что, по их мнению, приятно слушателям, ибо без силков лести им никогда не добиться своего. Вот так и учитель красноречия: если, подобно рыбаку, он не взденет на крючок ту приманку, на которую рыбешка наверняка клюнет, то и останется сидеть на скале без надежды на улов.

4. Что же следует из этого? Порицания достойны родители, не желающие воспитывать своих детей в строгих правилах. Во-первых, они и тут, как во всем прочем, свои надежды посвящают честолюбию. Во-вторых, торопясь скорее достичь желаемого, гонят недоучек на форум, и красноречие, которое, по их собственному признанию, стоит выше всего на свете, отдается в руки молокососов. Вот если бы они допустили, чтобы учение шло постепенно, чтобы учащиеся юноши орошали душу лишь серьезным чтением и воспитывались по правилам мудрости, чтобы они безжалостно стирали все лишние слова, чтобы они внимательно прислушивались к речам тех, кому захотят подражать, и убеждались в том, что прельщающее их вовсе не великолепно, – тогда возвышенное красноречие обрело бы вновь достойное его величие. Теперь же мальчишки дурачатся в школах, а над юношами

смеются на форуме, и хуже всего то, что кто смолоду плохо обучен, тот до старости в этом не сознаётся. Но дабы ты не возомнил, будто я не одобряю неприятязательных импровизаций, вроде Луцилиевых, я и сам то, что думаю, скажу стихами.

5.

Науки строгой кто желает плод видеть,
Пускай к высоким мыслям обратит ум свой,
Суровым воздержаньем закалит нравы:
Тщеславно пусть не ищет он палат гордых,
К пирам обжор не льнет, как блюдолиз жалкий,
Не заливаает пусть вином свой ум острый,
Пусть пред подмостками он не сидит днями,
С венком в кудрях, рукоплеща игре мимов.

Если же мил ему град Тритонии оруженосной,
Или по сердцу пришлось поселение лакедемонян,
Или постройка Сирен – пусть отдаст он поэзии юность,
Чтобы с веселой душой вкушать от струи меонийской,
После, бразды повернув, перекинется к пастве Сократа,
Будет свободно бряцать Демосфеновым мощным
оружьем.

Далее – римлян толпа пусть обступит его и, изгнавши
Греческий звук из речей, их дух незаметно изменит.
Форум покинув, порой пусть заполнит страницу стихами,
Чтобы Фортуну воспеть и полет ее окрыленный.

Пой о пирах и о войнах сложи суровую песню,
В слогѣ возвышенном так с Цицероном бесстрашным
сравнишься.
Вот чем тебе надлежит напоить свою грудь, чтоб
широким
Вольным потоком речей излить пиэрийскую душу.

6. Я так заслушался этих слов, что не заметил исчезновения Аскилта. Пока я шагал по саду, все еще взволнованный сказанным, портик наполнился огромной толпой молодежи, возвращавшейся, как мне кажется, с импровизированной речи какого-то неизвестного, отвечавшего на «свазорию» Агамемнона. Пока эти молодые люди, осуждая строй речи, насмехались над ее содержанием, я потихоньку ушел, желая разыскать Аскилта. Но, к несчастью, я ни дороги точно не знал, ни местоположения нашей гостиницы не помнил. В какую бы сторону я ни направлялся – все приходил на прежнее место. Наконец, утомленный беготней и весь обливаясь потом, я обратился к какой-то старушонке, торговавшей овощами:

7. – Матушка, – сказал я, – не знаешь ли, часом, где я живу?

– Как не знать! – отвечала она, рассмеявшись столь глупой шутке. А сама встала и пошла впереди. Я решил в душе, что она ясновидящая... Вскоре, однако, эта шутивая старуха, заведя меня в глухой переулок, распахнула лоскутную завесу и сказала: – Вот где ты должен жить.

Пока я уверял ее, что не знаю этого дома, я увидел внутри какие-то надписи, голых потаскушек и украдкой разгуливавших между ними мужчин. Слишком поздно я понял, что попал в трущобу. Проклиная вероломную старушонку, я, закрыв плащом голову, бегом бросился через весь лупанар в другой конец, – и вдруг, уже у самого выхода, меня нагнал Аскилт, тоже полумертвый от усталости. Можно было подумать, что его привела сюда та же старушонка. Я отвесил ему насмешливый поклон и осведомился, что, собственно, он делает в столь постыдном месте?

8. Он вытер руками пот и сказал:

– Если бы ты только знал, что со мною случилось!

– Почему мне знать, – отвечал я.

Он же в изнеможении рассказал следующее:

– Я долго бродил по всему городу и никак не мог найти нашего пристанища. Вдруг ко мне подходит некий почтенный муж и любезно предлагает проводить меня. Какими-то темными закоулками он провел меня сюда и, вытащив кошелек, стал соблазнять меня на стыдное дело. Хозяйка уже получила плату за комнату, он уже вцепился в меня... и, не будь я сильнее его, мне пришлось бы плохо...

Все они словно сатирионом опились...

Общими усилиями мы избавились от назойливого...

9. Наконец, как в тумане, завидел я Гитона, стоявшего на обочине переулка, и бросился туда же... Когда я обратился к нему с вопросом, приготовил ли нам братец что-нибудь на обед, мальчик сел на кровать и стал большим пальцем вытирать обильные слезы. Тронутый видом братца, я спросил, что случилось. Он ответил нехотя и не скоро, лишь после того как мои просьбы стали сердитыми:

– Этот вот, твой братец или товарищ, прибежал незадолго до тебя и стал посягать на мою чистоту. Когда же я кричал, он обнажил меч, говоря: «Если ты Лукреция, то я твой Тарквиний».

Услыхав это, я едва не выцарапал глаза Аскилту.

– Что скажешь ты, потаскуха мужского пола, чье самое дыхание нечисто? – кричал я.

Аскилт же, притворяясь страшно разгневанным и размахивая руками, заорал еще пуще меня:

– Замолчишь ли ты, гладиатор поганый, отброс арены! Замолчишь ли, ночной грабитель, никогда не преломивший копья с порядочной женщиной, даже в те времена, когда ты был еще способен к этому! Ведь я точно так же был твоим братцем в цветнике, как этот мальчишка – в гостинице.

– Ты удрал во время моего разговора с наставником! – упрекнул его я.

10. – А что мне оставалось делать, дурак ты этакий? Я умирал с голоду. Неужто же я должен был выслушивать ваши рассуждения о битой посуде и цитаты из сонника? Поистине, ты поступил много гнуснее меня, когда расхваливал поэта, чтобы пообедать в гостях...

Так наша безобразная ссора разрешилась смехом, и мы мирно заговорили о другом...

Снова вспомнив обиды, я сказал:

– Аскилт, я чувствую, что у нас с тобой не будет ладу. Поэтому разделим наши общие пожитки, разойдемся и постараемся прогнать нашу бедность каждый порознь. И ты сведущ в словесности, и я. Но, чтобы тебе не мешать, я выберу другой род занятий, не то нам придется на каждом шагу сталкиваться, и мы скоро станем притчей во языцех.

Аскилт согласился.

– Сегодня, – сказал он, – мы, как риторы, приглашены на пир. Не будем попусту терять ночь. Завтра же, если угодно, я подыщу себе и другого товарища, и другое жилище.

– Глупо откладывать до завтра то, что хочешь сделать сегодня, – возразил я...

Страсть торопила меня к скорейшему разрыву. Уже давно жаждал я избавиться от этого несносного стража, чтобы снова взяться с Гитоном за старое...



12. Уже смеркалось, когда мы пришли на форум, где увидели целые груды товаров, недорогих, но сомнительного качества, что, однако, легко было скрыть в наступивших сумерках. По той же причине и мы притащили с собой украденный плащ и, воспользовавшись удобным случаем, устроились на углу и стали помахивать одной его полою, в расчете приманить покупателя столь роскошной вещью. Вскоре к нам подошел знакомый мне по виду поселянин, в сопровождении какой-то бабенки, и принялся внимательно рассматривать плащ. Аскилт, в свою очередь, уставился на плечи мужика-покупателя и от изумления остолбенел. Я тоже не без волнения посматривал на молодца: мне показалось, что это тот самый, который нашел за городом мою тунику. Конечно, это был он! Но Аскилт боялся поверить своим глазам и, чтобы не действовать опрометчиво, стащил тунику с плеч мужика под предлогом, будто желает купить ее, и принялся внимательно ее ощупывать.

13. О, удивительная игра Судьбы! Мужик до сих пор не полюбопытствовал ощупать швы туники и продавал ее с отвращением, как нищенские лохмотья. Аскилт, убедившись, что сокровище неприкосновенно и что продавец – неважная птица, отвел меня в сторонку и сказал:

– Знаешь, братец, к нам вернулось сокровище, о котором

я сокрушался. Эта самая милая туника, видимо, еще полна нетронутых золотых. Ну, что делать? На каком основании получить обратно нашу вещь?

Я, обрадованный не столько возвращением добычи, сколько тем, что фортуна сняла с меня позорное обвинение, отверг всяческие увертки и посоветовал добиваться своего по всем статьям гражданского права: если мужик откажется вернуть чужую собственность законным владельцам, то потребовать, чтобы на нее наложили арест.

14. Аскилт же, напротив, законов боялся.

– Кто нас здесь знает? – говорил он. – Кто поверит нашим словам? Пусть мы доподлинно уверены, что эта вещь наша, но все же мне больше улыбается купить ее и вернуть сокровище за небольшую плату, чем затевать тяжбу, которая неведомо чем кончится.

Чем нам поможет закон, если правят в суде только деньги,
Если бедняк никого не одолеет вовек?

Даже и те мудрецы, что котомку киников носят,
Тоже за деньги порой истине учат своей.

Приговор судей – товар, и может купить его каждый.
Всадник присяжный в суде платный выносит ответ.

Но в наличности у нас не было ничего, кроме дипондия, на который мы собирались купить гороха и волчьих бобов. Поэтому, чтобы добыча от нас не ускользнула, мы решили сбавить цену с плаща и выгодной сделкой возместить

небольшую потерю. Когда мы объявили нашу цену, женщина с покрытой головой, стоявшая рядом с крестьянином, стала пристально рассматривать метки на плаще, а потом вдруг обеими руками вцепилась в подол и заголосила во все горло: «Держи воров!»

Мы же с перепугу ничего лучше не придумали, как, в свою очередь, ухватиться за грязную, рваную тунику и во всеуслышание объявить, что, дескать, эти люди завладели нашей одеждой. Но слишком неравным было наше положение, и сбежавшиеся на крик торгоши принялись – не без причин, конечно, – издеваться над нашей жадностью: ведь одна сторона требовала драгоценную одежду, а другая – лохмотья, которые и на лоскутное одеяло не годились. Но Аскилт живо унял смех и, когда молчание воцарилось, сказал:

15. – Как видно, каждому дорого свое: поэтому пусть берут свой плащ, а нам отдадут нашу тунику.

Предложение понравилось и крестьянину и женщине, но какие-то крючкотворы, а вернее сказать, – жулики, позарившись на плащ, громко потребовали, чтобы до завтра, когда судья разберет дело, обе вещи были переданы им на хранение. Дело, по их словам, было не только в вещах, из-за которых разгорелась тяжба, но и в том, что, видно, обе стороны можно заподозрить в воровстве, – вот в чем следовало разобраться.

Толпа одобрила конфискацию, и один из торгашей, лысый и прыщеватый, который, при случае, вел тяжбы, загра-

бастал плащ, уверяя, что представит его на следующий день. Впрочем, затея этих мошенников была ясна: просто они хотели присвоить попавший им в руки плащ, думая, что мы, испугавшись обвинения в воровстве, на суд не явимся. Того же самого хотели и мы. Таким образом, случай потворствовал и нашим и их желаниям. Мы потребовали, чтобы мужик выдал нашу тунику, и он в сердцах швырнул ее в лицо Аскилту и, таким способом избавившись от иска, велел нам сдать посреднику плащ, который теперь уже был единственным предметом спора...

Мы поспешно вернулись в гостиницу, уверенные, что наше сокровище снова у нас в руках, и, заперев двери, вдоволь нахохотались над догадливостью торгашей и кляузников, которые от большого ума отдали нам столько денег.

16. Едва принялись мы за изготовленный стараниями Гитона ужин, как раздался довольно решительный стук в дверь.

– Кто там? – спросили мы, побледнев с испуга.

– Открой, – был ответ, – и узнаешь.

Пока мы переговаривались, соскользнувший засов сам по себе упал, и настежь распахнувшиеся двери пропустили гостью.

Это была женщина под покрывалом, без сомнения, та самая, что несколько времени тому назад стояла рядом с мужиком на рынке.

– Смеяться, что ли, вы надо мною вздумали? – сказала она. – Я рабыня Квартиллы, чье таинство вы осквернили

у входа в пещеру. Она сама пришла в гостиницу и просит разрешения побеседовать с вами; вы не смущайтесь: она не осуждает, не винит вас за эту оплошность, она только удивляется, какой бог занес в наши края столь изысканных юношей.

17. Пока мы молчали, не зная, на что решиться, в комнату вошла сама госпожа в сопровождении девочки и, сев на моей постели, принялась плакать. Мы не могли вымолвить ни слова и, остолбеневав, глядели на слезы женщины, проливаемые нарочно, чтобы всем показать ее горе. Когда же этот на зависть сделанный ливень наконец перестал свирепствовать, она обратилась к нам, сорвав с горделивой головы покрывало и так сжав руки, что суставы хрустнули:

– Откуда вы набрались такой дерзости? Где научились уловкам, в которых превзошли всех сказочных разбойников? Ей-богу, мне жаль вас, но еще никто безнаказанно не видел того, чего видеть не должно. Наша округа полным-полна богов-покровителей, так что бога здесь легче встретить, чем человека. Но не подумайте, что я ради мести сюда явилась: привело меня сострадание к вашей юности, а не моя обида. Думается мне, лишь по легкомыслию совершили вы сей неискупаемый проступок. Я промучилась всю сегодняшнюю ночь, меня охватил опасный озноб, и я испугалась – не приступ ли это третичной лихорадки. Я вопрошала исцеления во сне, и было мне знамение – обратиться к вам и укротить недуг указанной мне хитростью. Но не

только об исцелении хлопочу я: большее горе запало мне в сердце и непременно сведет меня в могилу, – как бы вы, по юношескому легкомыслию, не разболтали виденное вами в святилище Приапа и не открыли черни божественных тайн. Посему простираю к коленам вашим молитвенно обращенные длани, прошу и умоляю: не смейтесь, не издевайтесь над ночными богослужениями, не открывайте встречному-поперечному вековых тайн, которых и тысяча человек не знает.

18. После этой мольбы она снова залилась слезами и, горько рыдая, прижалась лицом и грудью к моей постели.

Я, движимый одновременно жалостью и страхом, попросил ее ободриться и не сомневаться ни в том, что таинств мы не разгласим, ни в том, что мы готовы, если божество укажет ей еще какое-либо средство против лихорадки, прийти на помощь небесному промыслу, хотя бы с опасностью для жизни. После такого обещания женщина сразу повеселела, не отерев слез, засмеялась и стала целовать меня частыми поцелуями, а рукою, как гребнем, зачесывать мне волосы, спадавшие на уши.

– Итак, мир! – сказала она. – Я отказываюсь от иска. Но если бы вы не захотели дать мне требуемое лекарство, то завтра уже была бы готова целая толпа мстителей за мою обиду и поруганное достоинство.

Стыдно отвергнутой быть; но быть самовластной – прекрасно.

Больше всего я люблю путь свой сама избирать.
Если презреть мудреца, то и он начинает браниться.
Тот, кто врага не добьет, – тот победитель вдвойне...

Затем, захлопав в ладоши, она вдруг принялась так хохотать, что нам страшно стало. Смеялась и девчонка, ее сопровождавшая, смеялась и служанка, прежде вошедшая.

19. Все они гоготали, как мимы, мы же, не понимая причины столь быстрой перемены настроения, смотрели то на женщин, то друг на друга...

– По моему приказу ни единого смертного не пустят сегодня в эту гостиницу, ибо я желаю без долгих проволочек получить от вас лекарство против лихорадки.

При этих словах Квартиллы Аскилт немного опешил, я же сделался холоднее галльского снега и не мог проронить ни слова. Только малочисленность ее свиты немного меня успокаивала. Если бы они захотели на нас покушаться, то против нас, каких ни на есть, но мужчин, были бы всего-навсего три слабые бабенки. Мы, несомненно, были боеспособнее, и я уже обдумал расстановку сил на случай, если бы пришлось драться: я справлюсь с Квартиллой, Аскилт – с рабыней, Гитон же – с девочкой...

Тут нас, онемевших от ужаса, окончательно покинуло всякое мужество, и предстала взору неминуемая гибель...

20. – Умоляю тебя, госпожа, – сказал я, – если ты задумала

что недоброе, кончай скорее: не так уж велик наш проступок, чтобы за него погибать под пытками...

Служанка, которую звали Психеей, между тем постлала на полу ковер... Аскилт закрыл голову плащом, зная по опыту, как опасно подсматривать чужие секреты... Рабыня вытащила из-за пазухи две тесьмы и связала ими нам руки и ноги...

* * *

– Как же так? Значит, я недостоин выпить? – спросил Аскилт, воспользовавшись минутой, когда болтовня несколько стихла.

Мой смех выдал каверзу служанки.

– Ну и юноша, – вскричала она, всплеснув руками, – один выпил столько сатириона!

– Вот как? – спросила Квартилла. – Энколпий выпил весь запас сатириона?..

...Вся тряслась, смеясь не без приятности... и даже Гитон не мог удержаться от хохота, в особенности когда девчонка бросилась ему на шею и, не встречая сопротивления, осыпала его бесчисленными поцелуями...

21. Мы попробовали было позвать на помощь, но никто нас выручать не явился, да, кроме того, Психея, каждый раз, когда я собирался закричать «караул», начинала головной шпилькой колоть мне щеки; девчонка же, обмакивая кисточку в сатирион, мазала ею Аскилта... Напоследок явился

кинэд в зеленой одежде из мохнатой шерсти, подпоясанный кушаком. Он то терся об нас раздвинутыми бедрами, то пачкал нас вонючими поцелуями. Наконец Квартилла, подняв хлыст из китового уса и высоко подпоясав платье, приказала дать нам, несчастным, передышку...

Оба мы поклялись священной клятвой, что эта ужасная тайна умрет с нами...

Затем пришли палестриты и, по всем правилам искусства, умастили нас. Забыв про усталость, мы надели застольные одежды и были отведены в соседний покой, где стояло три ложа и вся обстановка отличалась роскошью и изяществом. Нас пригласили возлечь, угостили великолепной закуской, просто залили фалерном. После нескольких перемен нас стало клонить ко сну.

– Это что такое? – спросила Квартилла. – Вы собираетесь спать, хотя прекрасно знаете, что подобает чтить гений Приапа всенощным бдением?

22. Когда утомленного столькими бедами Аскилта окончательно сморило, отвергнутая с позором рабыня взяла и намазала ему, сонному, все лицо углем и разрисовала плечи и губы. Да и я, усталый от всех неприятностей, тоже чуть пригубил сна. Заснула и вся челядь в комнате и за дверями: одни валялись вперемешку у ног возлежавших, другие дремали, прислонившись к стенам, третьи примостились на пороге – голова к голове. Выгоревшие светильники бросали свет тусклый и слабый. В это время два сирийца прокрались в

триклиний с намерением уворовать бутылку вина, но, от жадности подравшись на уставленном серебряной утварью столе, разбили ее. Стол с серебром опрокинулся, и упавший с высоты кубок чуть не размозжил голову рабыне, валявшейся на ложе. Она громко завизжала от боли, так что крик ее и воров выдал, и часть пьяных разбудил. Воры-сирийцы, поняв, что их сейчас поймают, тоже растянулись вдоль ложа, словно они уже давно тут, и принялись храпеть, притворяясь спящими. Распорядитель пира подлил масла в полупотухшие лампы, мальчики, протерев глаза, вернулись к своей службе, и, наконец, вошедшая музыкантша, ударив в кимвал, пробудила всех.

23. Пир возобновился, и Квартилла снова призвала всех налечь на вино. Кимвалистка много способствовала веселью пирующих...

24. Гитон стоял тут же и чуть не вывихнул челюстей от смеха. Тут только Квартилла обратила на него внимание и спросила с любопытством:

– Чей это мальчик?

Я сказал, что это мой братец.

– Почему же в таком случае, – осведомилась она, – он меня не поцеловал?

И, подозвав его к себе, подарила поцелуем.

Затем, засунув ему руку под одежду и найдя на ощупь неиспользованный еще сосуд, сказала:

– Это завтра послужит прекрасной закуской к нашим на-

слаждениям. Сегодня же после разносолов не хочу харчей.

25. При этих словах Психея со смехом подошла к ней и что-то неслышно шепнула.

– Вот-вот, – ответила Квартилла, – ты прекрасно надумала: почему бы нам сейчас не лишить девства нашу Паннихис, благо случай выходит?

Немедленно привели девочку, довольно хорошенькую, на вид лет семи, не более, – ту самую, что приходила к нам в комнату вместе с Квартиллой. При всеобщих рукоплесканиях, по требованию публики, стали справлять свадьбу. В полном изумлении я принялся уверять, что, во-первых, Гитон, стыдливейший отрок, не подходит для такого безобразия, да и лета девочки не те, чтобы она могла вынести закон женского подчинения.

– Да? – сказала Квартилла. – Но разве она сейчас младше, чем я была в то время, когда впервые отдалась мужчине? Да прогневается на меня моя Юнона, если я хоть когда-нибудь помню себя девушкой. В детстве я путалась с ровесниками, потом пошли юноши постарше, и так до сей поры. Отсюда, верно, и пошла пословица: «Кто поднимал теленка, поднимет и быка».

Боясь, как бы без меня с братцем не обошлись еще хуже, я присоединился к свадьбе.

26. Уже Психея окутала голову девочки огненного цвета фатой; уже кинэд нес впереди факел; пьяные женщины, рукоплеща, составили процессию и застлали брачное ло-

же непристойным покрывалом. Возбужденная этой сладострастной игрой, сама Квартилла встала и, схватив Гитона, потащила его в спальню. Без сомнения, мальчик не сопротивлялся, да и девчонка вовсе не была испугана словом «свадьба». Пока они лежали за закрытыми дверями, мы уселись на пороге спальни, впереди всех Квартилла, со сладострастным любопытством следившая через бесстыдно проделанную щелку за ребячьей забавой. Дабы и я мог любоваться тем же зрелищем, она осторожно привлекла меня к себе, обняв за шею, а так как в этом положении щеки наши соприкасались, то она время от времени поворачивала ко мне голову и как бы украдкой целовала меня...

* * *

Бросившись на свои постели, мы без страха проспали остальную часть ночи.

* * *

Настал третий день, день долгожданного свободного пира, но нам, получившим столько ран, более улыбалось бегство, чем покойное житье.

Итак, мы мрачно раздумывали, как бы нам отвратить надвигающуюся грозу, как вдруг один из рабов Агамемнона ис-

пугал нас окриком.

– Как, – говорил он, – разве вы не знаете, у кого сегодня пируют? У Трималхиона, изящнейшего из смертных; в триклинии у него стоят часы, и к ним приставлен особый трубач, возвещающий, сколько часов жизни безвозвратно потерял хозяин.

Позабыв все невзгоды, мы тщательно оделись и велели Гитону, который охотно согласился выдать себя за нашего раба, следовать за нами в бани.

27. Одетые, разгуливали мы по баням – просто так, для своего удовольствия, – подходя к кружкам играющих, как вдруг увидели лысого старика в красной тунике, игравшего в мяч с кудрявыми мальчиками. Нас привлекли не столько мальчики, – хотя и на них стоило посмотреть, – сколько сам почтенный муж в сандалиях, игравший зелеными мячами: мяч, коснувшийся земли, больше не поднимали, а свой запас игроки возобновляли из полной сумки, которую держал раб. Мы заметили одно новшество. По обеим сторонам круга стояли два евнуха: один из них держал серебряный ночной горшок, другой считал мячи, но не те, которыми во время игры перебрасывались из рук в руки, а те, что падали наземь. Пока мы удивлялись этим роскошным прихотям, к нам подбежал Менелай:

– Вот тот, у кого вы сегодня обедаете, а вступлением к пиршеству уже сейчас любуетесь.

Еще во время речи Менелая Трималхион прищелкнул

пальцами. По этому знаку один из евнухов подал ему горшок. Освободив свой пузырь, Трималхион потребовал воды для рук и, слегка смочив пальцы, вытер их о волосы одного из мальчиков.

28. Долго было бы рассказывать все подробности. Словом, мы отправились в баню и, пропотев как следует, поскорее перешли в холодное отделение. Там надушенного Трималхиона уже вытирали, но не полотном, а простынями из мягчайшей шерсти. Три массажиста пили у него на глазах фалерн; когда они, поссорившись, пролили много вина, Трималхион назвал это свиной здравицей. Затем его завернули в ярко-алую байку, он возлег на носилки и двинулся в путь, предшествоваемый четырьмя медно-украшенными скороходами и ручной тележкой, в которой ехал его любимчик: старообразный, подслеповатый мальчишка, уродливее даже самого хозяина, Трималхиона. Пока его несли, над его головой, словно желая что-то шепнуть на ушко, склонялся музыкант, всю дорогу игравший на крошечной флейте. Мы же, вне себя от изумления, следовали за ним и вместе с Агамемноном пришли к дверям, на которых висело объявление, гласившее:

Если раб без господского приказа выйдет за ворота, то получит сто ударов.

У самого входа стоял привратник в зеленом платье, подпоясанный вишневым поясом, и на серебряном блюде чистил горох. Над порогом висела золотая клетка, откуда пест-

рая сорока приветствовала входящих.

29. Задрал голову, чтобы рассмотреть все диковинки, я чуть было не растянулся навзничь и не переломал себе ног. Дело в том, что по левую руку, недалеко от каморки привратника, был нарисован на стене огромный цепной пес, а над ним большими прямоугольными буквами было написано:

Берегись собаки.

Товарищи мои захохотали. Я же, оправившись от испуга, не поленился пройти вдоль всей стены. На ней был изображен невольничий рынок, и сам Трималхион, еще кудрявый, с кадуцеем в руках, ведомый Минервою, торжественно вступал в Рим (об этом гласили пояснительные надписи). Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил в надписях: и как Трималхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Трималхиона за подбородок, возносил его на высокую трибуну. Тут же была и Фортуна с рогом изобилия, и три Парки, прядущие золотую нить. Заметил я в портике и целый отряд скороходов, обучавшихся под наблюдением наставника. Кроме того, увидел я в углу большой шкаф, в нише которого стояли серебряные Лары, мраморное изображение Венеры и довольно большая засмоленная золотая шкатулка, где, как говорили, хранилась первая борода самого хозяина. Я расспросил привратника, что изображает живопись внутри дома.

– Илиаду и Одиссею, – ответил он, – и бой гладиаторов, устроенный Ленатом.

30. Но некогда было все разглядывать. Мы уже достигли триклиния, в передней половине которого домоправитель проверял счета. Но что особенно поразило меня в триклинии, так это пригвожденные к дверям дикторские пучки прутьев с топорами, оканчивающиеся внизу бронзовым подобием корабельного носа, на котором значилась надпись:

Г. Помпею Трималхиону, севиру августалов, Киннам-казначей.

Надпись освещалась спускавшимся с потолка двурогим светильником, а по бокам ее были прибиты две доски; на одной из них, помнится, имелась нижеследующая надпись:

В третий день до январских календ и накануне наш Гай обедает вне дома.

На другой же были изображены фазы Луны и ход семи светил и равным образом обозначены разноцветными шариками дни счастливые и несчастливые. Достаточно налюбовавшись этим великолепием, мы хотели войти в триклиний, как вдруг мальчик, специально назначенный для этого, крикнул нам:

– Правой ногой!

Мы, конечно, немного потоптались на месте, опасаясь, как бы кто-нибудь из нас не переступил через порог несо-

гласно с предписанием. Наконец, когда все разом мы занесли правую ногу, неожиданно бросился перед нами навзничь уже раздетый для бичевания раб и стал умолять избавить его от казни, – невелика вина, за которую его преследуют: он не устерег в бане одежды домоправителя, стоящей не больше десяти сестерциев. Каждый из нас вновь опустил правую ногу перед порогом, и все мы стали просить домоправителя, пересчитывавшего в триклинии червонцы, простить раба. Он гордо приосанился и сказал:

– Не потеря меня рассердила, а ротозейство этого негодного раба. Он потерял застольную одежду, подаренную мне ко дню рождения одним из клиентов. Была она, конечно, тирийского пурпура, но уже однажды мытая. Все равно! Ради вас прощаю.

31. Едва мы, побежденные таким великодушием, вошли в триклиний, раб, за которого мы просили, подбежал к нам и осыпал нас, остолбеневших от смущения, целым градом поцелуев, благодаря за милосердие.

– Впрочем, – говорил он, – вы скоро увидите, кого благодетельствовали. Господское вино – вот благодарность раба-виночерпия.

Когда наконец мы возлегли, молодые александрийские рабы облили нам руки снежной водой, за ними последовали другие, омывшие нам ноги и старательно обрезавшие все заусенцы на пальцах. При этом они, не прерывая своего неприятного дела, все время, не смолкая, пели. Я пожелал узнать

на опыте, вся ли челядь состоит из певчих, и попросил пить; услужливый мальчик исполнил мою просьбу, распевая так же пронзительно; и то же самое делали все, что бы у них ни попросили. Какая-то пантомима с хором, а не триклиний почетного дома!

Между тем подали изысканную закуску; все возлегли на ложа, исключая только самого Трималхиона, которому, по новой моде, оставили высшее место за столом. Посреди подноса стоял ослик коринфской бронзы с выюками вперемет, в которых лежали с одной стороны белые, а с другой – черные оливки. Над ослом возвышались два серебряных блюда, по краям их были выгравированы имя Трималхиона и вес серебра, а на спаянной подставке вроде мостика лежали жареные сони с приправой из мака и меда. Были тут также и горячие колбаски на серебряной решетке, а под решеткой – сирийские сливы и гранатовые зерна.

32. Мы наслаждались этими роскошествами, когда появился сам Трималхион; его внесли под звуки музыки и уложили на малюсеньких подушечках, что рассмешило неосторожных. Его скобленая голова высывалась из ярко-красного паллия, а вокруг и без того закутанной шеи он еще намотал шарф с широкой пурпурной оторочкой и свисающей там и сям бахромой. На мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное кольцо; на последнем же суставе безымянного, как мне показалось, – настоящее золотое, поменьше размером, с припаянными к нему железны-

ми звездочками. А чтобы выставить напоказ и другие драгоценности, он обнажил до самого плеча правую руку, украшенную золотым запястьем и еще скрепленным сверкающей бляхой браслетом из слоновой кости.

33. – Друзья, – сказал он, ковыряя в зубах серебряной зубочисткой, – не по душе еще было мне выходить в триклиний, но, чтобы не задерживать вас дольше, я отказываю себе во всех удовольствиях. Позвольте мне только окончить игру.

Следовавший за ним мальчик принес столик терпентинового дерева и хрустальные кости; я заметил нечто донельзя утонченное: вместо белых и черных камешков здесь были золотые и серебряные денарии. Пока он за игрой исчерпал все рыночные прибаутки, нам, еще во время закуски, подали репозиторий, а на нем корзину, в которой, растопырив крылья, как наседка на яйцах, сидела деревянная курица. Сейчас же прибежали два раба и под звуки пронзительной музыки принялись шарить в соломе; вытащив оттуда павлиньи яйца, они роздали их пирующим. Тут Трималхион обратил внимание на это зрелище и сказал:

– Друзья, я велел положить под курицу павлиньи яйца. И, ей-ей, боюсь, что в них уже цыплята вывелись. Попробуем-ка, съедобны ли они.

Мы взяли по ложке, весившей не менее полуфунта каждая, и вытащили яйца, слепленные из крутого теста. Я чуть было не бросил это яйцо: мне показалось, что в нем уже лежал цыпленок, но потом услышал, как какой-то старый со-

трапезник крикнул:

– Э, да тут, видно, что-то вкусное!

И, облупив яйцо рукою, я вытащил жирного винноягодника, приготовленного под соусом из перца и желтка.

34. Трималхион, прервав игру, потребовал себе всего, что перед тем ели мы, и громким голосом дал разрешение всякому, кто пожелает, требовать еще медового вина. В это время, по данному знаку, грянула музыка, и тотчас же поющий хор убрал подносы с закусками. В суматохе упало большое серебряное блюдо; один из мальчиков его поднял, но заметивший это Трималхион велел надавать рабу затрещин, а блюдо бросить обратно на пол. Явившийся буфетчик стал выметать серебро вместе с прочим сором за дверь. Затем пришли два кудрявых эфиопа, оба с маленькими бурдюками вроде тех, из которых рассыпают песок в амфитеатрах, и омыли нам руки вином: воды никто не подал. Восхваляемый за такую утонченность хозяин сказал:

– Марс любит равенство. Поэтому я велел поставить каждому особый столик. К тому же нам не будет так жарко от множества вонючих рабов.

В это время принесли старательно запечатанные гипсом стеклянные амфоры, на горлышках которых имелись ярлыки с надписью:

Опимрианский фалерн. Столетний.

Когда надпись была прочтена, Трималхион всплеснул ру-

ками и воскликнул:

– Увы, увы нам! Так, значит, вино живет дольше, чем людишки! Посему давайте пить, ибо в вине жизнь. Я вас угощаю настоящим опимианским; вчера я не такое хорошее выставил, а обедали люди почище вас.

Мы пили и удивлялись столь изысканной роскоши. В это время раб притащил серебряный скелет, так устроенный, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны. Когда его несколько раз бросили на стол и он, благодаря подвижному сцеплению, принимал разнообразные позы, Три-малхион воскликнул:

– Горе нам, беднякам! О, сколь человечешко жалок! Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит. Будем же жить хорошо, други, покуда живем.

35. Возгласы одобрения были прерваны появлением репозитория, по величине не совсем оправдавшего наши ожидания. Однако его необычность привлекла к нему все взоры. На круглом блюде были выложены кольцом двенадцать знаков зодиака, причем на каждом кухонный архитектор разместил соответствующие яства. Над Овном – овечий горох, над Тельцом – говядину кусочками, над Близнецами – почки и тестикулы, над Раком – венок, над Львом – африканские фиги, над Девой – матку неогулявшейся свиньи, над Весами – настоящие весы с горячей лепешкой на одной чашке и пирогом на другой, над Скорпионом – морскую рыбку, над

Стрельцом – лупоглаза, над Козерогом – омара, над Водолеем – гуся, над Рыбами – двух краснобородок. Посередке, на дернине с подстриженной травой, возвышался медовый сот. Египетский мальчик обнес нас хлебом на серебряном противне, причем препротивным голосом выл что-то из мима «Ласерпициария».

Видя, что мы довольно кисло принялись за эти убогие кушанья, Трималхион сказал:

– Советую приступить к обеду. Это закон трапезы!

36. При этих словах четыре раба, приплясывая под музыку, подбежали и сняли с репозитория верхний поднос. И мы увидели другой поднос, а на нем птиц и свиное вымя и посередине зайца, украшенного крыльями, как бы в виде Пегаса. На четырех углах подноса мы заметили четырех Марсиев, из мехов которых обильно вытекала подливка прямо на рыб, плававших точно в канале. Мы разразились рукоплесканиями, начало которым положили домочадцы, и весело принялись за изысканные кушанья.

– Режь! – воскликнул Трималхион, не менее всех восхищенный удачной выдумкой.

Сейчас же выступил вперед стольник и принялся в такт музыки резать кушанье с таким грозным видом, что казалось, будто эсседарий сражается под звуки водяного органа. Между тем Трималхион все время разнеженным голосом повторял:

– Режь! Режь!

Заподозрив, что в этом бесконечном повторении заключается какая-нибудь острота, я не постеснялся спросить о том соседа, возлежавшего выше меня.

Тот, часто выдававший подобные шутки, ответил:

– Видишь раба, который режет кушанье? Его зовут Режь.

Итак, восклицая: «Режь!», Трималхион одновременно и зовет и приказывает.

37. Наевшись до отвала, я обратился к своему соседу, чтобы как можно больше разузнать. Начав издали, я осведомился, что за женщина мечется взад и вперед по триклинию.

– Жена Трималхиона, – ответил сосед, – по имени Фортуната. Мерами деньги считает. А недавно кем была? С позволения сказать, ты бы из ее рук куска хлеба не принял. А теперь ни с того ни с сего вознесена до небес. Всё и вся у Трималхиона! Скажи она ему в самый полдень, что сейчас ночь, – поверит! Сам он толком не знает, сколько чего у него имеется, – до того он богат. А эта волчица все насквозь видит, где и не ждешь. В еде и в питье умеренна, на совет торовата – золото, не женщина. Только зла на язык: настоящая сорока на перине. Кого полюбит – так полюбит, кого невзлюбит – так уж невзлюбит! Земли у Трималхиона – коршуну не облететь, деньгам счету нет; здесь в каморке привратника больше валяется серебра, чем у иного за душой есть. А рабов-то, рабов-то, ой-ой-ой сколько! Честное слово, пожалуй, и десятая часть не знает хозяина в лицо. Словом, он любого из здешних балбесов в рутовый лист свернет.

38. И думать не могли, чтобы он что-нибудь покупал на стороне: шерсть, померанцы, перец – все дома растет; птичьего молока захочется – и то найдешь. Показалось ему, что домашняя шерсть недостаточно хороша, так он в Таренте баранов купил и пустил их в стадо. Чтобы дома производить аттический мед, он завез пчел из самых Афин, – кстати, и доморощенные пчелки станут показистее благодаря гречаночкам. Да вот только на днях он написал в Индию, чтобы ему прислали семян шампиньонов. Если есть у него мул, то непременно от онагра. Видишь, сколько подушек? Все до единой набиты пурпурной или багряной шерстью. Вот какое ему счастье выпало! Но и его товарищей-вольноотпущенников остерегись презирать. И они не без сока. Видишь вон того, что возлежит на нижнем ложе последним? Теперь у него восемьсот тысяч сестерциев, а ведь начинал с пустого места: недавно еще бревна на спине таскал. Но говорят, – не знаю, правду ли, а только слышал, – что он стащил у Инкубона шапку и нашел клад. Я-то никогда не завидую, если кому что бог пошлет. Но у него еще щека горит, потому и хочется ему разгуляться. Недавно он вывесил такое объявление:

Г. Помпей Диоген сдает квартиру в июльские календы по случаю покупки собственного дома.

А тот, что возлежит на месте вольноотпущенников? Как здорово пожил! Я его не осуждаю. У него уже маячил перед глазами собственный миллион, – но свихнулся бедняга. Не

знаю, есть ли у него на голове хоть единый волос, свободный от долгов! Но, честное слово, вина не его, потому что он сам отличный малый. Вся беда от подлецов вольноотпущенников, которые его добро на себя перевели. Сам знаешь: «Артельный котел плохо кипит» и «Где дело пошатнулось, там друзья за дверь». А каким почтенным делом занимался он, прежде чем дошел до теперешнего состояния! Он был организатором похорон. Обедал словно царь: кабаны прямо в щетине, птица, печенья, повара, пекаря... вина под стол проливали больше, чем у иного в погребке хранится. Не человек, а сказка! Когда же дела его пошатнулись, он, боясь, что кредиторы сочтут его несостоятельным, выпустил следующее объявление:

Г. Юлий Прокул устраивает аукцион излишних вещей.

39. Трималхион перебил эти приятные речи. Когда убрали вторую перемену и повеселевшие гости принялись за вино, а разговор стал общим, Трималхион, приподнявшись на локте, сказал:

– Это вино вы сами должны подсластить: рыба посуху не ходит. Спрашиваю вас: как по-вашему, доволен ли я тем кушаньем, что вы видели на верхнем подносе репозитория? «Таким ли вы знали Улисса?» Что же это значит? А вот что! И за едой не надо забывать о словесности. Да почиет в мире прах моего патрона! Это он захотел сделать меня человеком среди людей. Для меня нет ничего неизвестного, как показывает это блюдо. Небо-то это, в котором обитают двенадцать

богов, принимает раз за разом двенадцать видов и прежде всего становится Овном. Кто под этим знаком родился, у того будет много скота, много шерсти. Голова у него крепкая, лоб бесстыжий, рога острые. Под этим знаком родится много буквоедов и пройдох.

Мы рассыпались в похвалах остроумию новоявленного астронома. Он продолжал:

– Затем все небо становится Тельцом. Тогда рождаются такие, что лягнуть могут, и волопасы, и те, что сами себя пасут. Под Близнецами рождаются парные кони, быки и шулята и те, что двух маток сразу сосут. Под Раком родился я; потому-то я на многих ногах стою и на суше и на море многим владею, ибо Рак и тут и там на своем месте. Поэтому я давно уж ничего на этот знак не кладу, чтобы не отягощать своей судьбы. Подо Львом рождаются обжоры и властолюбцы. Под Девой – женщины, беглые рабы и колодники. Под Весами – мясники, парфюмеры и вообще те, кто что-нибудь отвешивает. Под Скорпионом – отравители и убийцы. Под Стрельцом – косоглазые, что на зелень косятся, а сало хватают. Под Козерогом – те, у которых от многих бед рога вырастают. Под Водолеем – трактирщики и тыквенные головы. Под Рыбами – повара и риторы. Так и вертится круг, подобно жернову, и всегда нелегкая так устраивает, что кто-нибудь либо рождается, либо помирает. И вон та дернина, что вы видите посредине, и медовый сот на ней – все это я не без причины устроил. Мать-земля посредине всего, она кругла, как яйцо,

и заключает в себе все хорошее, точь-в-точь как сот.

40. «Браво!» – воскликнули мы все в один голос и, воздев руки к потолку, поклялись, что Гиппарха и Арата мы, по сравнению с ним, и за людей не считаем. Но тут появились рабы и постлали перед ложами ковры, на которых были изображены охотники с рогатинами, а рядом сети и прочая охотничья утварь. Мы просто не знали, что и подумать, как вдруг за дверью триклиния раздался невероятный шум, и вот лаконские собаки забегали вокруг стола. Вслед за тем было внесено огромное блюдо, на котором лежал изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток: одну с карийскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг кабана лежали поросята из пирожного теста, будто присосавшись к вымени, что должно было изображать супорось; поросята предназначались в подарок нам. Рассечь кабана взялся не Режь, резавший ранее птицу, а огромный бородач в тиковом охотничьем плаще, с обмотками на ногах. Вытащив охотничий нож, он с силой ткнул кабана в бок, и из разреза выпорхнула стая дроздов. Птицеловы, стоявшие наготове с клейкими прутьями, скоро переловили разлетевшихся по триклинию птиц. Тогда Три-малхион приказал дать каждому гостю по дрозду и сказал:

– Видите, какие отличные желуди сожрала эта дикая свинья?

Тут же рабы взяли из зубов кабана корзиночки и разделили финики обоих сортов между пирующими.

41. Между тем я, лежа на покойном месте, долго ломал голову, стараясь понять, зачем кабана подали в колпаке? Исчерпав все догадки, я обратился к своему прежнему толкователю за разъяснением мучившего меня вопроса.

– Твой покорный слуга легко объяснит тебе все, – ответил он, – никакой загадки тут нет, дело ясное. Вчера этого кабана подали на стол последним, и пирующие отпустили его на волю: итак, сегодня он вернулся на стол уже вольноотпущенником.

Я проклял свою глупость и решил больше его не расспрашивать, чтобы не казалось, будто я никогда с порядочными людьми не обедал. Пока мы так разговаривали, прекрасный юноша, увенчанный виноградными лозами, с корзинкой в руках обносил нас виноградом и, именуя себя то Бромием, то Лиэем, то Эвием, тонким, пронзительным голосом пел стихи своего хозяина. При этих звуках Трималхион обернулся к нему.

– Дионис, – вскричал он, – будь свободным!

Юноша стащил с кабаньей головы колпак и надел его.

– Теперь вы не станете отрицать, – сказал Трималхион, – что в доме у меня Либер-Отец.

Мы похвалили удачную острогу Трималхиона и прямо зацеловали обходившего триклиний мальчика.

После этого блюда Трималхион встал и пошел облегчиться. Мы же, освобожденные от присутствия тирана, стали вызывать сотрапезников на разговор. Дама первый потребовал

большую братину и заговорил:

– Что такое день? Ничто. Не успеешь оглянуться – уж ночь на дворе. Поэтому ничего нет лучше, как из спальни прямо переходить в триклиний. Ну и холод же нынче; еле в бане согрелся. Но «глоток горячего винца – лучшая шуба». Я клюкнул и совсем осовел... вино в голову ударило.

42. Селевк уловил отрывок разговора и сказал:

– Я не каждый день моюсь; банщик что валяльщик; у воды есть зубы, и жизнь наша ежедневно подтачивается. Но я опрокину стаканчик медового вина, и наплевать мне на холод. К тому же я не мог вымыться: я сегодня был на похоронах. Добрейший Хрисанф, прекрасный малый, побывшился; так еще недавно окликнул он меня на улице; кажется мне, что я только что с ним разговаривал. Ох, ох! Все мы ходим точно раздутые бурдюки; мы стоим меньше мухи: потому что и у мухи есть свои доблести, – мы же просто-напросто мыльные пузыри. А что было бы, если бы он не был воздержан? Целых пять дней ни крошки хлеба, ни капли воды в рот не взял и все-таки отправился к праотцам. Врачи его погубили, а вернее, злой Рок. Врач ведь – это только самоутешение. Вынос был что надо: роскошные ковры, великолепное погребальное ложе, и оплакали его на славу, – ведь он многих отпустил на волю; только жена плакала скверно. А что бы еще было, если бы он с ней не обращался так хорошо? Но женщина – это женщина: коршуново племя. Никому не надо делать добра: все едино, что в колодец бросить. Но старая

любовь цепка, как рак...

43. Он всем надоел, и Филерот вскричал:

– Поговорим о живых! Этот свое получил: в почете жил, с почетом помер. На что ему жаловаться? Начал он с одного асса и готов был из навоза зубами полушку вытащить. И так рос, пока не вырос, словно сот медовый. Клянусь богами, я уверен, что он оставил тысяч сто, и все звонкой монетой. Однако скажу о нем всю правду, потому в этом деле я семь собак без соли съел. Был он груб на язык, большой ругатель – свара ходячая, а не человек. Куда лучше был его брат: друзьям друг, хлебосол, щедрая рука. Поначалу ему не повезло, но первый же сбор винограда поставил его на ноги: он продавал вино почем хотел; а что окончательно заставило его поднять голову, так это наследство, из которого он больше украл, чем ему было завещано. А эта дубина, обозлившись на брата, оставил по завещанию всю вотчину какому-то курицыну сыну. Дорожка от родных далеко заводит! Но были у него слуги-наушники, которые его погубили. Легковереие никогда до добра не доводит, особенно торгового человека. Однако верно, что он сумел попользоваться жизнью... Неважно, кому назначалось, важно, кому досталось. А уж его Фортуна любила, как родного сыночка. У него в руках и свинец в золото превращался. Легко тому, у кого все идет как по маслу. Как вы думаете, сколько лет унес он с собой в могилу? Семьдесят с лишком. А ведь он был крепкий, точно роговой, здорово сохранился, черен, что вороново крыло. Я

с ним давным-давно знаком был. И до последних дней был распутником, ей-богу! Даже суке и то не давал проходу. И насчет мальчишек был горазд – вообще на все руки мастер. Я его не осуждаю; ведь больше ничего с собой в могилу не унесешь.

44. Так разглагольствовал Филерот; а вот что нес Ганимед: – Говорите вы все ни к селу ни к городу; почему никто не побеспокоится, что нынче хлеб кусаться стал? Честное слово, я сегодня кусочка хлеба найти не мог. А засуха-то все по-прежнему! Целый год голодаем. Эдилы – чтоб им пусто было! – с пекарями стакнулись. Да, «ты – мне, я – тебе». Бедный народ страдает, а этим ненасытным глоткам всякий день Сатурналии. Эх, будь у нас еще те львы, каких я застал, когда только что приехал из Азии! Вот это была жизнь!.. Так били этих кикимор, что они узнали, как Юпитер сердится. Помню я Сафиния! Жил он (я еще мальчишкой был) вот тут, у старых ворот; перец, а не человек! Когда шел, земля под ним горела! Зато прямой! Зато надежный! И друзьям друг! С такими можно впотьмах в морру играть. А посмотрели бы вы в курии! Иного, бывало, так отбреет! А говорил без вывертов, напрямик. Когда вел дело на форуме, голос его гремел как труба, и никогда при этом он не потел и не плевался. Думаю, что это ему от богов дано было. А как любезно отвечал на поклон! Всех по именам знал, ну, прямо – свой брат. В те поры хлеб не дороже грязи был. купишь его на асс – вдвоем не съесть; а теперь – меньше бычьего глаза. Нет, нет! С каждым

днем все хуже; город наш, словно телячий хвост, назад растет! Да кто виноват, что у нас эдил трехгрошовый, которому асс дороже нашей жизни? Он втихомолку над нами посмеивается. А в день получает больше, чем иной по отцовскому завещанию. Уж я-то знаю, за что он получил тысячу золотых, будь мы настоящими мужчинами, ему бы не так привольно жилось. Нынче народ такой: дома – львы, на людях – лисицы. Что же до меня, то я проел всю одежонку, и, если дороговизна продлится, придется и домишки мои продать. Что же это будет, если ни боги, ни люди не сжалятся над нашей колонией? Чтобы мне не видать радости от семьи, если я не думаю, что беда ниспослана нам небожителями. Никто небо за небо не считает, никто постов не блюдет, никто Юпитера и в грош не ставит; все только и знают, что добро свое считать. В прежнее время выходили именитые матроны босые, с распущенными волосами, на холм и с чистым сердцем вымаливали воды у Юпитера, – и сразу лил дождь как из ведра. Сразу же или никогда. И все возвращались мокрые как мыши. А теперь у богов ноги не ходят из-за нашего неверия. Поля заброшены...

45. – Пожалуйста, – сказал Эхион-лоскутник, – выражайся приличнее. «Раз – так, раз – этак», как сказал мужик, потеряв пегую свинью. Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы жители здесь были людьми. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередни-

чать: все под одним небом живем. Попади только на чужбину, так начнешь уверять, что у нас свиньи жареные разгуливают. Вот, например, будут нас угощать на праздники три дня подряд превосходными гладиаторскими играми; выступит труппа не какого-нибудь латисты, а несколько настоящих вольноотпущенников. И Тит наш – широкая душа и горячая голова; так или этак, а ублажить сумеет, уж я знаю: я у него свой человек. Он ничего не делает вполсилы. Оружие будет дано первостатейное, удирать – ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему амфитеатру видно было. Благо средств у него хватит: тридцать миллионов сестерциев ему досталось, как бедняга отец его помер. Если он и четыреста тысяч выбросит, мощна его даже и не почувствует, а он увековечит свое имя. У него есть несколько парней, и женщина-эсседария, и Гликонов казначей, которого накрыли, когда он забавлялся со своей госпожой. Увидишь, как народ разделится: одни будут за ревнивца, другие за любезника. И Гликон-то хорош! Самому грош цена, а казначея отдает зверям. Что называется, самого себя выставил на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что ему велят. Уж лучше бы эту ночную посудину бык посадил на рога. Но так всегда: кто не может по ослу, тот бьет по седлу. И как мог Гликон вообразить, что из Гермогенова отродья выйдет что-нибудь путное? Тот мог бы коршуну на лету когти подстричь. От змеи не родится канат. Гликон, один Гликон внакладе: на всю жизнь пятно на нем останется, и разве что смерть его смоет! Но всякий

сам себе грешен. Да вот еще: есть у меня предчувствие, что Маммея нам скоро пир задаст, – там-то уж и мне и моим по два денария достанется. Если он сделает это, то Норбану уже не бывать любимцем народа: вот увидите, он теперь обгонит его на всех парусах. Да и вообще, что хорошего сделал нам Норбан? Дал гладиаторов грошовых, полудохлых, – дунешь на них, и повалятся; и бестиариев я видал получше; всадники, которых он выставил на убой, – точь-в-точь человечки с ламповой крышки! Сущие цыплята; один – увалень, другой – кривоногий; а терциарий-то! За мертвеца мертвец с подрезанными жилами. Пожалуй, еще фракиец был ничего себе; да и тот дрался разве что по правилам. Словом, всех после секли, а публика так и кричала: «Наддай!» Настоящие зайцы! Он скажет: «Я вам устроил игры», – а я ему: «А мы тебе хлопаем». Посчитай, и увидишь, что я тебе больше даю, чем от тебя получаю. Рука руку моет.

46. Мне кажется, Агамемнон, ты хочешь сказать: «Чего тараторит этот надоеда?» Но почему же ты, записной краснобай, ничего не говоришь? Ты не нашего десятка, вот и смеешься над речами бедных людей. Мы-то знаем, что ты от большой учености свихнулся. Но это не беда. Уж когда-нибудь я тебя уговорю приехать ко мне на хутор, посмотреть наш домишко; найдется чем перекусить: яйца, курочка. Хорошо будет, хоть в этом году погода и испакостила весь урожай. А все-таки разыщем, чем червяка заморить. Потом и ученик тебе растет – мой парнишка. Он уже и делить на че-

тыре может. Вырастет, к твоим услугам будет. И теперь все свободное время не поднимает головы от таблиц; умненький он у меня и поведения хорошего, только очень уж птицами увлекается. Я уж трем щеглам головы свернул и сказал, что их ласка съела. Но он нашел другие забавы и рисовать любит. Кроме того, начал он уже греческий учить, да и за латынь принялся неплохо, хотя учитель его слишком уж стал самодоволен, не сидит на одном месте. Приходит и просит дать книгу, а сам работать не желает. Есть у него и другой учитель, не очень ученый, да зато старательный; учит и тому, чего сам не знает. Он приходит к нам обыкновенно по праздникам и всем доволен, что ему ни дай. Недавно купил я сыночку несколько книг с красными строками: хочу, чтобы понюхал немного законы для ведения домашних дел. Занятие это хлебное. В словесности он уж довольно испачкался. Если она ему опротивеет, я его какому-нибудь ремеслу обучу; отдам, например, в цирюльники, в глашатаи или, скажем, в стряпчие. Это у него одна смерть отнять может. Каждый день я ему твержу: «Помни, первенец: все, что зубришь, для себя зубришь. Посмотри на Филерона, стряпчего: если бы он не учился, давно бы с голоду подох. Не так давно еще был разносчиком, а теперь с самим Норбаном потягаться может. Наука – это клад, и искусный человек никогда не пропадет».

47. В таком роде шла болтовня, пока не вернулся Трималхион. Он отер пот со лба, вымыл в душистой воде руки и сказал после недолгого молчания:

– Извините, друзья, но у меня уже несколько дней нелады с желудком; врачи теряются в догадках. Облегчили меня гранатовая корка и хвойные шишки в уксусе. Надеюсь, теперь мой желудок за ум возьмется. А то как забурчит у меня в животе, подумаешь – бык заревел. Если и из вас кто надобность имеет, так пусть не стесняется. Никто из нас не родился запечатанным. Я лично считаю, что нет большей муки, чем удерживаться. Этого одного сам Юпитер запретить не может. Ты смеешься, Фортуната? А кто мне ночью спать не дает? Никому в этом триклинии я не хочу мешать облегчаться; да и врачи запрещают удерживаться, а если кому потребуется что-нибудь посерьезнее, то за дверьми все готово: сосуды, вода и прочие надобности. Поверьте мне, ветры попадают в мозг и производят смятение во всем теле. Я знал многих, которые умерли оттого, что не решались в этом деле правду говорить.

Мы благодарили его за снисходительность и любезность и усиленной выпивкой старались подавить смех. Но мы не подозревали, что еще не прошли, как говорится, и полпути до вершины всех здешних роскошеств. Когда со стола под звуки музыки убрали посуду, в триклиний привели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее, глашатай объявил, что это – двухлетка, трехлетка и шестилетка. Я вообразил, что пришли фокусники и свиньи станут выделять какие-нибудь штуки, словно перед кружком уличных зевак. Но Трималхион рассеял недоумение.

– Которую из них вы хотите сейчас увидеть на столе? – спросил он. – Потому что петухов, Пенфеево рагу и прочую дребедень и мужики изготовят; мои же повара привыкли и цельного теленка в котле варить.

Тотчас же он велел позвать повара и, не ожидая нашего выбора, приказал заколоть самую крупную.

– Ты из которой декурии? – повысив голос, спросил он.

– Из сороковой, – отвечал повар.

– Тебя купили или же ты родился в доме?

– Ни то ни другое, – отвечал повар, – я достался тебе по завещанию Пансы.

– Смотри же, хорошо приготовь ее. А не то я тебя в декурию посыльных разжалую.

Повар, познавший таким образом могущество своего господина, последовал за своей будущей стряпней на кухню.

48. Трималхион же, любезно обратившись к нам, сказал:

– Если вино вам не нравится, я скажу, чтобы переменили; а вас прошу придать ему вкус своею беседой. По милости богов я ничего не покупаю, а все, от чего слюнки текут, произрастает в одном моем пригородном поместье, которого я даже еще и не видел. Говорят, оно граничит с моими террацинскими и тарентийскими землями. Теперь я хочу прикупить себе и Сицилию, чтобы, если мне вздумается проехаться в Африку, не выезжать из своих владений. Но расскажи нам, Агамемнон, какую такую речь ты сегодня произнес? Я хотя лично дел и не веду, тем не менее для домашнего употреб-

ления красноречию все же обучался, не думай, пожалуйста, что я пренебрегаю учением. Теперь у меня две библиотеки: одна греческая, другая латинская. Скажи поэтому, если любишь меня, резюме твоей речи.

– Богатый и бедняк были врагами, – начал Агамемнон.

– Бедняк? Что это такое? – перебил его Трималхион.

– Остроумно, – похвалил его Агамемнон и изложил затем содержание не помню какой контroversии.

– Если это на самом деле случилось, – тотчас заметил Трималхион, – то это вовсе не контroversия. Если же этого не было, тогда все и подавно ни к чему.

Это, как и все прочее, было встречено всеобщим одобрением.

– Агамемнон, милый мой, – продолжал между тем Трималхион, – прошу тебя, расскажи нам лучше, если помнишь, о странствованиях Улисса, как ему Полифем палец щипцами вырвал, или о двенадцати подвигах Геркулеса. Я еще в детстве об этом читал у Гомера. А то еще видал я Кумскую Сибиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: «Сибилла, чего тебе надо?», а она в ответ: «Помирать надо»¹.

49. Трималхион все еще разглагольствовал, когда подали блюдо с огромной свиньей, занявшее весь стол. Мы были поражены быстротой и поклялись, что даже куренка в такой небольшой срок вряд ли зажаришь, тем более что эта свинья нам показалась намного больше съеденного незадолго перед

¹ Слова, набранные курсивом, в оригинале – по-гречески. (Ред.)

тем кабана... Но Трималхион все пристальнее и пристальнее всматривался в нее.

– Как? Как? – вскричал он. – Свинья не выпотрошена?! Честное слово, не выпотрошена! Позвать, позвать сюда повара!

К столу подошел опечаленный повар и заявил, что он забыл выпотрошить свинью.

– Как это так забыл? – заорал Трималхион. – Подумаешь, он забыл перцу или тмину! Раздевайся!

Без промедления повар разделся и, понурившись, стал между двух истязателей. Все стали просить за него, говоря:

– Это бывает. Пожалуйста, прости его; если он еще раз сделает, никто из нас не станет за него просить!

Один я только поддался неумолимой жестокости и шепнул на ухо Агамемнону:

– Этот раб, видно, никуда не годен! Кто же это забывает выпотрошить свинью? Я бы не простил, если бы он даже рыбешку не выпотрошил!

Но Трималхион поступил иначе; с повеселевшим лицом он сказал:

– Ну, если ты такой беспамятный, вычисти-ка эту свинью сейчас, на наших глазах.

Повар снова надел тунику и, вооружившись ножом, дрожащей рукой полоснул свинью по брюху крест-накрест. И сейчас же из прореза, поддаваясь своей тяжести, градом посыпались кровавые и жареные колбасы.

50. Вся челядь громкими рукоплесканиями приветствовала эту шутку и возопила: «Да здравствует Гай!» Побара же почтили глотком вина, а также поднесли ему венок и кубок на блюде коринфской бронзы. Заметив, что Агамемнон внимательно рассматривает это блюдо, Трималхион сказал:

– Только у меня одного и есть настоящая коринфская бронза.

Я ожидал, что он, по своему обыкновению, из хвастовства скажет, что ему привозят сосуды прямо из Коринфа. Но вышло еще чище.

– Вы, наверно, спросите, как это так я один владею коринфской бронзой, – сказал он. – Очень просто: медника, у которого я покупаю, зовут Коринфом; что же еще может быть более коринфского, чем изделия Коринфа? Но не думайте, что я невежда необразованный и не знаю, откуда эта самая бронза получилась. Когда Илион был взят, Ганнибал, большой плут и мошенник, свалил в кучу все статуи – и золотые, и серебряные, и медные – и кучу эту поджег. Получился сплав. Ювелиры теперь пользуются им и делают чаши, блюда, фигурки. Так и образовалась коринфская бронза – ни то ни се, из многого одно. Простите меня, но я лично предпочитаю стекло. Оно, по крайности, не пахнет. И, по мне, оно было бы лучше золота, если бы не билось; в теперешнем же виде оно, впрочем, не дорого стоит.

51. Однако был такой стекольщик, который сделал небьющийся стеклянный фиал. Он был допущен с даром к Цеза-

рю и, попросив фиал обратно, перед глазами Цезаря бросил его на мраморный пол. Цезарь прямо-таки насмерть перепугался. Но стекольщик поднимает фиал, погнувшийся, словно какая-нибудь медная ваза, вытаскивает из-за пояса молоточек и преспокойно исправляет фиал. Сделав это, он вообразил, что уже схватил Юпитера за бороду, в особенности когда император спросил его, знает ли еще кто-нибудь способ изготовления такого стекла. Стекольщик, видите ли, и говорит, что нет; а Цезарь тут же велел отрубить ему голову, потому что, если бы это искусство стало всем известно, золото ценилось бы не дороже грязи.

52. Я теперь большой любитель серебра. У меня одних ведерных сосудов штук около ста. На них вычеканено, как Кассандра своих сыновей убивает: детки мертвые просто как живые лежат. Потом есть у меня жертвенная чаша, что оставил мне один из моих хозяев; на ней Дедал Ниобу прячет в троянского коня. А бой Петраита с Гермеротом вычеканен у меня на бокалах, и все они претяжелые. Я знаток в таких вещах, и это мне дороже всего.

Пока он все это рассказывал, один из рабов уронил чашу.

– Живо, – крикнул Трималхион, обернувшись, – отхлестай сам себя, раз ты ротозей.

Раб уже жалобно скривил рот, чтобы умолять о пощаде, но Трималхион перебил его:

– О чем ты меня просишь? Словно я тебя трогаю? Советую попросить самого себя и не быть ротозеем.

Наконец, уступая нашим просьбам, он простил раба. Освобожденный от наказания стал обходить кругом стола...

– Воду за двери, вино на стол! – закричал [Трималхион]...

Мы громко одобрили остроумную шутку, и пуще всех Агамемнон, знавший, чем заслужить приглашение и на следующий пир. Между тем, довольный восхвалениями, Трималхион стал пить веселей. Скоро он был уже вполпьяна.

– А что же, – сказал он, – никто не попросит мою Фортунату поплясать? Поверьте, лучше ее никто кордака не станцует.

Тут сам он, подняв руки над головой, принялся изображать сирийского мима, причем ему подпевала вся челядь: «*Пляши, плешивый!*» Я думаю, он бы и на середину выбрался, если бы Фортуната не шепнула ему что-то на ухо: должно быть, она сказала, что не подобает его достоинству такое шутовство. Никогда еще я не видал такой нерешительности: он то боялся Фортунаты, то поддавался своей природе.

53. Но конец этому плясовому зуду положил письмоводитель, возгласивший громко, словно он столичные новости выкрикивал:

– За семь дней до календ секстилия в поместье Трималхиона, что близ Кум, родилось мальчиков тридцать, девочек сорок. Свезено на гумно модиев пшеницы пятьсот тысяч, быков пригнано пятьсот. В тот же день прибит на крест раб Митридат за непочтительное слово о Гении нашего Гая. В тот же день отсланы в кассу девять миллионов сестерциев,

которые некуда было деть. В тот же день в Помпеевых садах случился пожар, начавшийся во владении Насты-приказчика.

– Как? – сказал Трималхион. – Да когда же купили мне Помпеевы сады?

– В прошлом году, – ответил писец, – и потому они еще не внесены в списки.

– Если в течение шести месяцев, – вспыхнул Трималхион, – я ничего не знаю о каком-либо купленном для меня поместье, я раз и навсегда запрещаю вносить его в опись.

Затем были прочтены распоряжения эдилов и завещания лесничих, в коих Трималхион особой статьей лишался наследства. Потом – список его приказчиков; акт о расторжении брака ночного сторожа и вольноотпущенницы, которая была обличена мужем в связи с банщиком; указ о ссылке домоправителя в Байи; о привлечении к ответственности казначея, а также решение тяжбы двух спальников.

Между тем в триклиний явились фокусники: какой-то нелепейший верзила поставил на себя лестницу и велел мальчику лезть по ступеням и на самом верху танцевать под звуки песенок; потом заставлял его прыгать через огненные круги и держать зубами урну. Один лишь Трималхион восхищался этими штуками, сожалея только, что это искусство неблагоприятное, и говоря, что он, впрочем, только два вида зрелищ смотрит с удовольствием: фокусников и трубачей; все же остальное – животные, музыка – просто чепуха. «Я, –

говорил он, – и труппу комедиантов купил, но заставил их разыгрывать мне ателланы и приказал начальнику хора петь по латыни».

54. При этих словах Гая мальчишка-фокусник свалился прямо на Трималхиона. Поднялся громкий вопль: орали и вся челядь, и гости, – не потому, что беспокоились участью дрянного человечки: каждый из нас был бы очень рад, если б он сломал себе шею, – но все перепугались, как бы не закончилось наше веселье несчастием и не пришлось бы нам оплакивать чужого мертвеца. Между тем Трималхион, испуская тяжкие стоны, беспомощно склонился на руки, словно и впрямь его серьезно ранили. Со всех сторон к нему бросились врачи, а впереди всех Фортуната, распустив волосы, с кубком в руке и причитая, что несчастнее ее нет на свете женщины. Свалившийся мальчишка припадал к ногам то одного, то другого из нас, умоляя о помиловании. Мне было не по себе, так как я подозревал, что все эти мольбы – только еще какой-нибудь дурацкий сюрприз. У меня из головы еще не выходил повар, позабывший выпотрошить свинью. Поэтому я принялся внимательно осматривать триклиний, ожидая, что вот-вот появится из стены какая-нибудь штукавина, в особенности когда стали бичевать раба за то, что он обвязал ушибленную руку хозяина белой, а не красной шерстью. Мое предчувствие меня почти не обмануло: вышло от Трималхиона решение – мальчишку отпустить на волю, дабы никто не осмелился утверждать, что раб ранил столь вели-

кого мужа.

55. Мы одобрили его поступок; по этому поводу зашел у нас разговор о том, как играет случай жизнью человека.

– Стойте, – сказал Трималхион, – нельзя, чтобы такое событие не было увековечено надписью. – Сейчас же потребовал он себе таблички и, по недолгом раздумии, прочел нам такие перекошенные стихи:

То, чего и не ждешь, иногда наступает внезапно,
Ибо все наши дела вершит своевольно Фортуна.
Вот почему наливай, мальчик, нам в кубки фалерн.

За разбором эпиграммы разговор перешел на стихотворцев, и долго обсуждалось первенство Мопса Фракийского, пока Трималхион не сказал:

– Открой мне, пожалуйста, учитель, какая разница, по-твоему, между Цицероном и Публилием. По-моему, один красноречивее, другой – добродетельнее. Можно ли сказать что-нибудь лучше этого:

Разрушит скоро роскошь стены Марсовы...
Павлина в пестрой вавилонской вышивке
Раскармливают в клетке для пиров твоих,
С ним каплунов и жирных нумидийских кур.
И цапля также, стражница залетная,
Пиэты тонконогая танцовщица,
Предвестница тепла, зимы изгнанница, –

В котле кутилы ныне вьет гнездо свое.
Зачем вам нужен жемчуг, бисер Индии?
Чтоб шла жена в жемчужном ожерелии
К чужому ложу поступью распутною?
К чему смарагд зеленый, стекла ценные,
Из Кархедона камни огнецветные?
Ужели честность светится в карбункулах?
Зачем дарить невесте ткань воздушную?
Чтоб голой быть при всех в одежде облачной?

56. – А чье, по-вашему, – продолжал он, – самое трудное занятие после словесности? По-моему, лекаря и менялы. Лекарь знает, что в нутре у людишек делается и когда будет приступ лихорадки. Я, впрочем, их терпеть не могу: больно часто они мне анисовую воду прописывают. Меняла же сквозь серебро медь видит. А из тварей бессловесных трудолюбивее всех волы да овцы: волы, ибо по их милости мы хлеб жуем, овцы, потому что их шерсть делает нас франтами. И – о, недостойное злодейство! Иной носит тунику, а ест баранину. Пчел же я считаю тварями божественными, ибо они плюются медом; хотя и говорят, что они его приносят от самого Юпитера; если же иной раз и жалят, то ведь где сладко, там и горько.

Трималхион собирался уже отбить хлеб у философов, но тут как раз стали обносить жребии в кубке, а раб, приставленный к этому делу, выкликал выигрыши.

– Свинячье серебро! – Принесли окорок, на котором сто-

или серебряные уксусницы.

– Пир и рог! – Принесли пирог.

– Багор и плот! – Подали багровое яблоко на палочке.

– Порей и груши! – Выигравший получил кнут (чтобы пороть) и игрушечный нож.

– Сухари и мухоловка! – Изюм и аттический мед.

– Застольное и выходное! – Пирожок и дощечки (для ношения на улице).

– Собачье и ножное! – Были даны заяц и сандалии.

– Под мышкой гадость, а сверху сладость! – Оказалась мышь, привязанная на спину лягушки, и связка свеклы.

Долго мы хохотали. Было еще множество штук в том же роде, но я их не запомнил.

57. Так как Аскилт, в необузданной веселости, хохоча до слез и размахивая руками, издевался над всем, то соотпущенник Трималхиона, тот самый, что возлежал выше меня, обозлился и заговорил:

– Чего ты смеешься, баран? Не нравится, видно, тебе роскошь нашего хозяина? Видно, ты привык жить богаче и пировать слаще? Да поможет мне Тутела этого дома! Если бы я возлежал рядом с ним, уж я бы заткнул ему бляялку. Хорош фрукт – еще смеет издеваться над другими! Какая-то кикимора, – шут его знает! – бездомовник, собственного дерьма не стоящий! Одним словом, если я вокруг него насыкаю, он и выйти из круга не сможет. Право, меня не легко рассердить, но в мягком мясе черви заводятся. Смеется! Ему, види-

те ли, смешно! Подумаешь, его отец не зачал, а на вес серебра купил! Ты – римский всадник! Ну, так я – царский сын. Так почему же я стал рабом? Да я сам добровольно пошел в рабство, предпочитал со временем сделаться римским гражданином, чем вечно платить подать. А теперь я так живу, что меня никто не засмеет. Человеком стал, не хуже людей. С открытой головой хожу. Никому медного асса не должен; под судом никогда не бывал. Никто мне на форуме не скажет: «Отдай, что должен!» Землицы купил и деньжонок накопил, двадцать ртов кормлю, не считая собаки. Сожительницу свою выкупил, чтобы никто у нее за пазухой рук не вытирал. За выкуп я тысячу денариев заплатил, севиром меня даром сделали. Коли помру, так и в гробу, надеюсь, мне краснеть не придется. А ты что, так занят, что тебе и на себя оглянуться некогда? На другом вошь видишь, а на себе клопа не видишь? Одному тебе мы кажемся смешными. Вот твой учитель, почтенный человек! Ему мы нравимся. Ах ты молодкосос, ни бе ни ме не смыслящий, ах ты сосуд скудельный, ах ты ремень моченый! «Мягче, но не лучше!» Ты богаче меня! Так завтракай дважды в день, дважды обедай! Мое доброе имя дороже клада. Одним словом, никому не пришлось мне дважды напомнить о долге. Сорок лет я был рабом, но никто не мог узнать, раб я или свободный. Длинноволосым мальчиком прибыл я сюда: тогда базилика еще не была построена. Однако я старался во всем угождать хозяину, человеку почтенному и уважаемому, – ты и ногтя его не стоишь! Были

в доме такие люди, что норовили мне то тут, то там ножку подставить. Но – спасибо Гению моего господина! – я вышел сух из воды. Вот это настоящая награда за победу! А родиться свободным так же легко, как сказать: «Пойди сюда». Ну, чего ты на меня уставился, как коза на горох?

58. После этой речи Гитон, стоявший на ногах, разразился давно душившим его неприличным смехом; противник Аскилта, заметив мальчика, обрушил свой гнев на него:

– И ты тоже гогочешь, волосатая луковица? Подумаешь, Сатурналии! Что у нас, декабрь месяц сейчас, я тебя спрашиваю? Ты когда двадцатину заплатил? Что ты делаешь, висельник, вороний корм? Разрази гнев Юпитера и тебя и того, кто не умеет тебя унять! Пусть я хлебом сыт не буду, если я не сдерживаюсь только ради моего соотпущенника, а то бы я тебе сейчас всыпал. Всем нам здесь хорошо, кроме пустомель, что тебя приструнить не могут. Поистине, каков хозяин, таков и слуга. Я едва сдерживаюсь! От природы я человек не вспыльчивый, но уж как разойдусь, так мать родную за грош отдам. Ну, все равно я с тобой еще повстречаюсь, мышь, сверчок этакий! Пусть я не расту ни вверх, ни вниз, если я не сверну твоего господина в рутовый листик! И тебе, ей-ей, пощады не будет! Зови хоть самого Юпитера Олимпийского! Уж я позабочусь об этом. Не помогут тебе ни кудряшки твои никудышные, ни господин двухгрошовый. Попадись только мне на зубок! Или я себя не знаю, или ты потеряешь охоту насмехаться, будь у тебя хоть золотая борода.

Уж я постараюсь, чтобы Афина поразила и тебя и того, кто сделал тебя таким нахалом.

Я не учился ни геометрии, ни критике, вообще никакой чепухе, но умею читать надписи и вычислять проценты в деньгах и в весе. Словом, устройм-ка примерное состязание. Выходи! Ставлю заклад! Увидишь, что твой отец даром тратился, хоть ты и риторику превзошел. Ну-ка! Кто кого? «Вдоль иду, вширь иду. Угадай, кто я?» И еще скажу: «Кто у нас бежит, а с места не двигается? Кто у нас растет и все меньше становится?» – Кто? Не знаешь? Суетишься? Мечешься, словно мышь в ночном горшке? Поэтому или молчи, или не смей докучать почтенным людям, которые тебя и за человека-то не считают. Или, думаешь, я очень смотрю на твои желтые колечки, которые ты у подружки стащил? Да поможет мне Оккупон! Пойдем на форум и начнем деньги занимать. Увидишь, что моему железному кольцу больше поверят. Да, хорош ты, лисица намокшая! Пусть у меня не будет барыша и пусть мне не помереть так, чтобы люди клялись моей кончиной, если я тебя со света не сживу. Хороша штучка и тот, кто тебя учил! Обезьяна, а не учитель! Мы другому учились. Наш учитель говорил бывало: «Все у вас в порядке? Марш по домам, да смотрите, по сторонам не глазеть! Смотрите, старших не задевайте». А теперь – чепуха одна! Ни один учитель гроша ломаного не стоит! А вот я, такой как есть, всегда буду богов благодарить за свою науку.

59. Аскилт собрался было возразить на эти нападки,

но Трималхион, восхищенный красноречием своего соотпущенника, сказал:

– Бросьте вы ссориться: лучше по-хорошему; а ты, Гермес-рот, извини юношу: у него молодая кровь кипит. Ты же должен быть благоразумнее. В таких делах побеждает уступивший. Ведь и ты небось, когда был молоденьким петушком – ко-ко-ко! – не мог удержать сердца. Лучше будет, если мы все снова развеселимся да гомеристами позабавимся.

В это время, звонко ударяя копьями о щиты, вошла какая-то труппа. Трималхион взгромоздился на подушки, и, пока гомеристы произносили, по своему наглому обыкновению, греческие стихи, он нараспев читал по латинской книжке.

– А вы знаете, что они изображают? – спросил он, когда наступило молчание. – Жили-были два брата – Диомед и Ганимед – с сестрою Еленой. Агамемнон похитил ее, а Диане подсунул лань. Так говорит нам Гомер о войне троянцев с парентийцами. Агамемнон, изволите ли видеть, победил и дочку свою Ифигению выдал за Ахилла; от этого Аякс помешался, как вам сейчас покажут.

Трималхион кончил, а гомеристы вдруг завопили во все горло, и тотчас же на серебряном блюде, весом в двести фунтов, был внесен вареный теленок со шлемом на голове. За ним следовал Аякс с обнаженным мечом, изображая безумного, и, рубя вдоль и поперек, насаживал куски на лезвие и раздавал изумленным гостям.

60. Не успели мы налюбоваться на эту изящную затею, как вдруг потолок затрещал с таким грохотом, что затряслись стены триклиния. Я вскочил, испугавшись, что вот-вот с потолка свалится какой-нибудь фокусник; остальные гости, не менее удивленные, подняли головы, ожидая, какую новость возвестят нам небеса. Потолок разверзся, и огромный обруч, должно быть содранный с большой бочки, по кругу которого висели золотые венки и баночки с мазями, начал медленно спускаться из отверстия. После того как нам повелели принять это в дар, мы взглянули на стол.

Там уже очутилось блюдо с пирожным; посреди него находился Приап из теста, держащий, по обычаю, в широком подоле плоды всякого рода и виноград. Жадно накинулись мы на гостинцы, но уже новая забава нас развеселила. Ибо из всех плодов, из всех пирожных при малейшем нажиме забили фонтаны шафрана, противные струи которого попадали нам прямо в рот. Полагая, что блюдо, окропленное этим потребным лишь при богослужении соком, должно быть священным, мы встали и громко воскликнули:

– Да здравствует божественный Август, отец отечества!

Когда же после этой здравицы многие стали хватать плоды, то и мы набрали их полные салфетки. Особенно старался я, ибо никакой дар не казался мне достаточным, чтобы наполнить пазуху Гитона.

В это время вошли три мальчика в белых подпоясанных туниках; двое поставили на стол Ларов с шариками на шее,

третий же с кубком вина обошел весь стол, восклицая:

– Да будет над вами милость богов!

Трималхион сказал, что их зовут Добычником, Счастливым и Наживщиком. В это же время все целовали портрет Трималхиона, и мы не посмели отказаться.

61. После взаимных пожеланий доброго здоровья и хорошего расположения Трималхион посмотрел на Никерота и сказал:

– А ты ведь бывал веселее на пиру; не знаю, почему ты сегодня сидишь и не пикнешь? Прошу тебя, сделай мне удовольствие, расскажи, что с тобой приключилось?

– Пусть я барыша в глаза не увижу, – отвечал тронутый любезностью друга Никерот, – если я не ежеминутно радуюсь, видя тебя в добром расположении. Поэтому пусть будет весело, хоть я и побаиваюсь этих ученых: еще засмеют. Впрочем, все равно – расскажу; пусть хохочут: меня от смеха не убудет. Да к тому же лучше вызвать смех, чем насмешку.

«Эти изрекши слова», он рассказал следующее:

– Когда я был еще рабом, жили мы в узком маленьком переулочке. Теперь это дом Гавиллы. Там, попущением богов, влюбился я в жену трактирщика Теренция; вы, наверно, знаете ее: Мелисса Тарентинка; такая аппетитная пышка! Но я, ей-богу, любил ее не из похоти, не для любовной забавы, а за ее чудесный нрав. Чего бы я у ней ни попросил – отказу нет. Заработает асс – половину мне. Я отдавал ей все на сохранение и ни разу не был обманут. Ее сожитель представил-

ся в деревне. Поэтому я и так и сяк, и думал и гадал, как бы попасть к ней. Ибо в нужде познаешь друга.

62. На мое счастье, хозяин по каким-то делам уехал в Капую. Воспользовавшись случаем, я уговорил нашего жильца проводить меня до пятого столба. Это был солдат, сильный, как Орк. Двинулись мы после первых петухов; луна всю сияет, светло, как днем. Дошли до кладбища. Приятель мой остановился у памятников, а я похаживаю, напевая, и считаю могилы. Потом посмотрел на спутника, а он разделся и платье свое у дороги положил. У меня – душа в пятки: стою ни жив ни мертв. А он помочился вокруг одежды и вдруг обернулся волком. Не думайте, что я шучу: я ни за какие богатства не сойду. Так вот, превратился он в волка, завыл и ударился в лес!

Я спервоначала забыл, где я. Затем подошел, чтобы поднять его одежду, – а она окаменела. Если кто тут перепугался до смерти, так это я. Однако вытащил я меч и всю дорогу рубил тени вплоть до самого дома моей милой. Вошел я блее привиденья. Едва дух не испустил; пот с меня в три ручья льет; глаза закатились; еле в себя пришел... Мелисса моя удивилась, почему я так поздно.

«Приди ты раньше, – сказала она, – ты бы, по крайней мере, нам пособил; волк ворвался в усадьбу и весь скот передудил: словно мясник, кровь им выпустил. Но хотя он и удрал, однако и ему не поздоровилось: один из рабов копьем шею ему проткнул».

Как услышал я это, так уж и глаз сомкнуть не мог и, как только рассвело, побежал быстрее ограбленного шинкаря в дом нашего Гая. Когда поравнялся с местом, где окаменела одежда, вижу: кровь, и больше ничего. Пришел я домой: лежит мой солдат в постели, как бык, а врач лечит ему шею! Я понял, что он оборотень, и с тех пор куска хлеба съесть с ним не мог, хоть убейте меня. Всякий волен думать о моем рассказе что хочет, но да прогневаются на меня наши гении, если я соврал.

63. Все молчали, пораженные.

– Не прими во зло, но только у меня, честное слово, от твоего рассказа волосы дыбом встали, – заговорил наконец Трималхион, – я знаю, Никерот попусту языком трепать не станет. Человек он верный и уж никак не болтун. Да и я могу рассказать вам престрашную историю: она – что твой осел на крыше. Был я тогда эфебом, ибо уже с детских лет жил в свое удовольствие. И вот у «самого» умирает любимчик, мальчик – прелесть по всем статьям, сущая жемчужина, ей-богу. В то время как мать-бедняжка оплакивала его, а все мы сидели вокруг тела носы повесивши, вдруг завизжали ведьмы, словно собаки зайца рвут. Был среди нас каппадокиец, мужчина основательный, силач и храбрец, – мог разъяренного быка поднять. Он, вынув меч и обмотав руку плащом, смело выбежал за двери и пронзил женщину приблизительно в этом месте – не про меня будь сказано. Мы слышали стоны, но – врать не хочу – ее самой не видели.

Наш долговязый, вернувшись, бросился на кровать, и все тело у него было покрыто подтеками, словно его ремнями били, – так, видите ли, отделала его нечистая сила. Мы, заперев двери, вернулись к нашей печальной обязанности, но, когда мать обняла тело сына, она нашла только соломенное чучело: ни внутренностей, ни сердца – ничего! Конечно, ведьмы утащили тело мальчика и взамен подсунули соломенного фифана. Уж вы извольте мне верить: есть женщины – ведьмы, ночные колдуньи, которые все вверх дном ставят. А долговязый после этого потерял краску в лице и через несколько дней умер в безумии.

64. Пораженные и вполне веря рассказу, мы поцеловали стол, заклиная Ночных сидеть дома, когда мы будем возвращаться с пира.

Тут у меня светильники в глазах стали двоиться, а триклиний кругом пошел. Но в это время Трималхион сказал:

– А ты, Плокам, я тебе говорю, почему ничего не расскажешь? Почему нас не позабавишь? Ты, бывало, веселее всех за столом: и диалоги прекрасно представляешь, и песни поешь. Увы, увы! Прошло то время золотое.

– Ох, – ответил тот, – отбегались мои колесницы с тех пор, как у меня подагра; а в прежние дни, когда я еще парнишкой был, то мне от пения чуть сухотка не приключилась. Кто лучше меня танцевал? Кто диалоги и цирюльню представлять умел? Разве один Апеллет – и никто больше!

Засунув пальцы в рот, он засвистал что-то отвратитель-

ное, уверяя потом, что это греческая штука; Трималхион же, в свою очередь, изобразив флейтиста, обернулся к своему любимцу по имени Крез. Этот мальчишка с гноящимися глазами и грязнейшими зубами между тем повязал зеленой ширинкой брюхо черной сучки, до неприличия толстой, и, положив на ложе половину каравая, пичкал ее, хоть она и давилась. При виде этого Трималхион вспомнил о Скилаке – «защитнике дома и присных» – и приказал его привести.

Тотчас же привели огромного пса на цепи; привратник пихнул его ногой, чтобы он лег, и собака расположилась перед столом.

– Никто меня в доме не любит так, как он, – сказал Трималхион, размахивая куском белого хлеба.

Мальчишка, рассердившись, что так сильно похвалили Скилака, спустил на землю свою сучку и принялся науськивать ее на пса. Скилак, по собачьему своему обычаю, наполнил триклиний ужасающим лаем и едва не разорвал в клочки Жемчужину Креза. Но переполох собачьей грызней не кончился: взясь, они опрокинули светильник, который, упав на стол, расколол всю хрустальную посуду и обрызгал гостей кипящим маслом. Трималхион, чтобы не показалось, будто его огорчила эта потеря, поцеловал мальчика и приказал ему взобраться себе на плечи. Тот, не раздумывая долго, живо оседлал хозяина и принялся ударять его по плечам, приговаривая сквозь смех:

– Щечка, щечка, сколько нас?

Некоторое время Трималхион терпеливо сносил это издевательство. Потом приказал налить вина в большую чашу и дать выпить сидевшим в ногах рабам, прибавив при этом:

– Если кто пить не станет, вылей ему на голову. Делу время, – потехе час.

65. За этим проявлением человеколюбия последовали такие лакомства, что – верьте, не верьте – мне и теперь, при воспоминании, дурно делается: вместо дроздов нас обносили жирными пулярками и гусиными яйцами в гарнире, причем Трималхион обидчивым тоном просил нас есть, говоря, что из кур вынуты все кости.

Вдруг в двери триклиния постучал ликтор, и вошел одетый в белое, сопровождаемый большой свитой новый сотрапезник. Пораженный его величием, я вообразил, что пожаловал претор, и потому хотел было вскочить с ложа и спустить на землю босые ноги, но Агамемнон посмеялся над моим испугом и сказал:

– Сиди, глупый ты человек. Это – Габинна, сеvir, он же и каменотес. Говорят, превосходно делает надгробные памятники.

Успокоенный этим объяснением, я снова возлег и с превеликим изумлением стал рассматривать вошедшего Габинну. Он же, изрядно выпивший, опирался на плечи своей жены; на голове его красовалось несколько венков; духи с них потоками струились по лбу и попадали ему в глаза; он разлегся на преторском месте и немедленно потребовал себе вина

и теплой воды. Заразившись его веселым настроением, Трималхион спросил себе кубок побольше и осведомился, как принимали Габинну.

– Все у нас было, кроме тебя, – отвечал тот. – Душа моя была с вами; а в общем, было прекрасно. Сцисса правила девятидневную тризну по покойном своем рабе, которого она по смерти отпустила на волю; думаю, что у Сциссы будет большая возня с собирателями двадесятины: покойника-то ведь оценивают в пятьдесят тысяч. Все, однако, было очень мило, хоть и пришлось половину вина вылить на его косточки.

66. – Ну, а что же подавали? – спросил Трималхион.

– Перечислю все, что смогу, – ответил Габинна, – память у меня такая хорошая, что я частенько забываю, как меня зовут. На первое была свинья с колбасой вместо венка, а кругом – чудесно изготовленные потроха и сладкое вино и, разумеется, домашний хлеб-самопек, какой я предпочитаю белому: он и силы придает, и, когда за нуждой хожу, я на него не жалею. Потом подавали холодный пирог и превосходное испанское вино, смешанное с горячим медом. Поэтому я и пирога съел немалую толику, и меда от пуза выпил. А в обклад шли горох и волчьи бобы; и еще было орехов сколько угодно, и по одному яблоку на гостя; мне, однако, удалось стащить парочку – вот они в салфетке; потому, если не принесу гостинца моему любимчику, здорово мне попадет. Ах да, госпожа моя мне очень кстати напоминает: под конец

подали медвежатину, которой Сцинтилла неосторожно попробовала и чуть все свои внутренности не выблевала. А я так целый фунт съел, потому что на кабана очень похоже. Ведь, я говорю, медведь пожирает людишек; тем паче следует людишкам пожирать медведя. Затем были еще мягкий сыр, морс, по улитке на брата и печенка в глиняных чашечках, и яйца в гарнире, и рубленые кишки, и репа, и горчица, и рагу в блевотине.

Ах да! Потом еще обносили маринованными маслинами в лохани, да там нашлись бесстыдники, которые нас от нее кулаками прогнали. А вот окороку мы сами дали вольную.

67. Однако, Гай, скажи, пожалуйста, почему Фортунаты нет за столом?

– Почему? – ответил Трималхион. – Разве ты ее не знаешь? Пока всего серебра не пересчитает, пока не раздаст объедков рабам, воды в рот не возьмет.

– Ну-с, – сказал Габинна, – если она не возляжет, я исчезаю! – И он попробовал подняться с ложа; но, по знаку Трималхиона, вся челядь четырежды кликнула Фортунату.

Она явилась в платье, подпоясанном желтым кушаком так, что снизу была видна туника вишневого цвета, витые браслеты и золоченые туфли. Вытерев руки висевшим на шее платком, она устроилась на том же ложе, где возлежала жена Габинны, Сцинтилла, захлопавшая в ладоши, и, поцеловав ее, воскликнула:

– Тебя ли я вижу?

Дело скоро дошло до того, что Фортуната сняла со своих жирных рук запястья и принялась хвастаться ими перед восхищенной Сцинтиллой. Наконец она и ножные браслеты сняла, и головную сетку тоже, про которую уверяла, будто она из червонного золота. Тут Трималхион это заметил и приказал принести все ее драгоценности.

– Посмотрите, – сказал он, – на эти женские цепи! Вот как нас, дураков, разоряют! Ведь этакая штука фунтов шесть с половиной весит; положим, у меня у самого есть запястье весом в десять фунтов.

Под конец, чтобы не думали, что он врет, Трималхион приказал подать весы и обнести их кругом стола для проверки веса.

Сцинтилла оказалась не лучше: она сняла с шеи золотую ладанку, которую она называла Счастливицей, потом вытащила из ушей серьги и, в свою очередь, показала Фортунате.

– Благодаря доброте моего господина, – говорила она, – ни у кого лучше нет.

– Э! Что там? – сказал Габинна. – Ты же из меня всю душу вытянула, чтобы я купил тебе эти стеклянные балаболки! Будь у меня дочка, я бы ей уши отрезал. Если бы не женщины, все было бы дешевле грязи; а теперь – «мочись теплым, а пей холодное».

Между тем уязвленные женщины над чем-то тихонько хихикали, обмениваясь пьяными поцелуями: одна хвасталась хозяйственностью и домовитостью, а другая жаловалась на

проказы и беспечность мужа. Но пока они обнимались, Габинна, незаметно приподнявшись, вдруг обхватил ноги Фортунаты и поднял их на ложе.

– Ай, ай! – завизжала она, видя, что туника ее задралась выше колен.

И, бросившись в объятия Сцинтиллы, она закрыла платочком лицо, покрасневшее и оттого еще более уродливое.

68. Когда после небольшого перерыва Трималхион приказал вторично накрыть на стол, рабы убрали все столы и принесли новые, а пол посыпали опилками, окрашенными шафраном и киноварью, и – чего я раньше никогда не видел – толченой слюдой.

– Ну, – сказал Трималхион, – мне-то самому и одной перемены хватило бы, а вторую трапезу только ради вас подают. Да уж ладно, если есть там что хорошенькое, тащи сюда.

Между тем александрийский мальчик, подававший горячую воду, защелкал, подражая соловью.

– Переменить! – вскоре закричал Трималхион, и вмиг появилась другая забава. Раб, сидевший в ногах Габинны, думаю, по приказанию своего хозяина, вдруг заголосил нараспев:

Флот Энея меж тем уж вышел в открытое море...

Никогда еще более режущий звук не раздирал моих ушей,

к тому же он не только делал варварские ошибки и то громко, то придушенно орал, но еще и вставлял в поэму стихи из ателлан; тут впервые сам Вергилий мне показался противным...

Тем не менее, когда он наконец замолчал, Габинна захлопал и сказал:

– А ведь нигде не учился! Я его посылал на выучку к базарным разносчикам; как примется представлять погонщиков мулов или разносчиков – нет ему равного. И вообще отчаянно способный малый: он и пекарь, он и сапожник, он и повар – всем Музам слуга. Он бы по всем статьям вышел, не будь у него двух изъянов: он обрезан и во сне храпит. Что косою – наплевать: глядит как Венера. Поэтому он ни о чем не может умолчать. Редко когда глаза смыкает. Я заплатил за него триста денариев.

69. – Нет, – вмешалась в разговор Сцинтилла, – ты еще не все художества негодного раба пересчитал. Это он тебе живой товар доставляет; я не я буду, если его не заклеят.

– Узнаю каппадокийца, – со смехом сказал Трималхион, – никогда ни в чем себе не откажет, и, клянусь богами, я его за это хвалю, этого тебе никто в могилу не положит. Ты же, Сцинтилла, брось ревновать. Уж поверь мне, мы вашу сестру тоже знаем. Помереть мне на этом месте, если я в свое время не игрывал с хозяйкой, да так, что «сам» заподозрил и отправил меня в деревню. Но... «Молчи, язык! Хлеба дам».

Приняв эти слова за поощрение, негодный раб вытащил

из-за пазухи глиняный светильник и с полчаса дудел, изображая флейтиста; Габинна вторил ему, играя на губах. В конце концов раб вылез на середину и принялся кривляться еще пуще: то, вооружившись выдолбленными тростниками, передразнивал музыкантов, то, завернувшись в плащ с капюшоном, изображал с бичом в руке погонщиков мулов. Наконец Габинна подозвал его к себе, поцеловал и, протянув ему кубок, присовокупил:

– Молодец, Масса! Я тебе башмаки подарю.

Никогда бы, кажется, не кончилось это мучение, если бы не подали десерта – дроздов-пшеничников, начиненных орехами и изюмом. За ними последовали кидонские яблоки, утыканные иглами наподобие ежей. Все это было еще переносимо, пока не притащили блюда столь чудовищного, что, казалось, лучше с голоду помереть. По виду – это был жирный гусь, окруженный всевозможной рыбой и птицей.

– Все, что вы здесь видите, – сказал Трималхион, – из одного вещества сделано.

Я, догадливейший из людей, сразу сообразил, в чем дело:

– Буду очень удивлен, – сказал я, наклонившись к Агамемнону, – если все это не сработано из навоза или, по меньшей мере, из глины. В Риме, на Сатурналиях, мне случалось видеть такие подобию кушаний.

70. Не успел я вымолвить этих слов, как Трималхион сказал:

– Пусть я разбухну, а не разбогатею, если мой повар не

сделал всего этого из свинины. Дорогого стоит этот человек. Захоти только, и он тебе из свиной матки смастерит рыбу, из сала – голубя, из окорока – горлинку, из бедер – курицу; и к тому же, по моему измышлению, имя ему наречено превосходное: он зовется Дедалом. Чтобы вознаградить его за хорошее поведение, я ему выписал из Рима подарок – ножи из норийского железа.

Сейчас же он велел принести эти ножи и долго ими любовался; потом и нам позволили испробовать их остроту, прикладывая лезвие к щекам.

Вдруг вбежали два раба с таким видом, точно они поссорились у водоема; по крайней мере, оба несли на плечах амфоры. Тщетно пытался Трималхион рассудить их: они продолжали ссориться и совсем не желали подчиниться его решению; наконец один другому одновременно разбили палкой амфору. Пораженные наглостью этих пьяниц, мы устали на драчунов и увидали, что из чрева амфор вывалились устрицы и ракушки, которые раб подобрал, разложил на блюде и стал обносить кругом. Искусный повар еще увеличил это великолепие: он принес на серебряной сковородке жареных улиток, напевая при этом дребезжащим и весьма отвратительным голосом.

Затем началось такое, что просто стыдно рассказывать: по какому-то неслыханному обычаю кудрявые мальчишки принесли духи в серебряном тазу и натерли ими ноги возлежащим, предварительно опутав голени от колена до самой пят-

ки цветочными гирляндами. Остатки этих же духов были вылиты в сосуды с вином и светильники. Уже Фортуната стала приплясывать, уже Сцинтилла чаще хлопала в ладоши, чем говорила, тогда Трималхион закричал:

– Филаргир и Карион, хоть ты и завзятый «зеленый», позволяю вам возлечь; и сожительнице твоей Менофиле скажи, чтобы она тоже возлегла.

Чего еще больше? Челядь переполнила триклиний, так что нас едва не сбросили с ложа. Я узнал повара, который из свиньи гуся делал: он возлег выше меня, и от него разлило подливкой и приправами. Не довольствуясь тем, что его за стол посадили, он принялся передразнивать трагика Эфеса и все время подзадоривал своего господина биться об заклад, утверждая, что «зеленые» на ближайших играх удержат за собой пальму первенства.

71. – Друзья, – сказал восхищенный этим пререканием Трималхион, – рабы – тоже люди, одним с нами молоком вскормлены, и не виноваты они, что Рок их обездолил. Однако, по моей милости, скоро все напьются вольной воды. Я их всех в завещании своем отпускаю на свободу. Филаргиру, кроме того, отказываю его сожительницу и поместье. Кариону – домик и двадцатину и кровать с постелью. Фортунату же делаю наследницей и поручаю ее всем друзьям моим. Все это я сейчас объявляю затем, чтобы челядь меня уже теперь любила так же, как будет любить, когда я умру.

Все принялись благодарить хозяина за его благодеяния;

он же, оставив шутки, велел принести список завещания и под вопли домочадцев прочел его от начала до конца. Потом, переводя взгляд на Габинну, проговорил:

– Что скажешь, друг сердечный? Ведь ты воздвигнешь надо мной памятник, как я тебе заказал? Я очень прошу тебя, изобрази у ног статуи мою собачку, венки, сосуды с ароматами и все бои Петраита, чтобы я, по милости твоей, еще и после смерти пожил. Вообще же памятник будет по фасаду сто футов, а по бокам – двести. Я хочу, чтобы вокруг праха моего были всякого рода плодовые деревья, а также обширный виноградник. Ибо большая ошибка украшать дома при жизни, а о тех домах, где нам дольше жить, не заботиться. А поэтому я прежде всего желаю, чтобы в завещании было помечено:

Этот монумент наследованию не подлежит.

Впрочем, это уже мое дело – предусмотреть в завещании, чтобы меня после смерти никто не обидел. Поставлю кого-нибудь из моих вольноотпущенников стражем у гробницы, чтобы к моему памятнику народ за нуждой не бегал. Прошу тебя также выбить на фронте мавзолея корабли, идущие на всех парусах, а я будто в тоге-претексте восседаю на трибуне с пятью золотыми кольцами на пальцах и из кошелька рассыпаю в народ деньги. Ты ведь знаешь, что я устроил общественную трапезу по два денария на человека.

Хорошо бы, если ты находишь возможным, изобразить и самую трапезу, и всех граждан, как они едят и пьют в свое удовольствие. По правую руку помести статую моей Фортунаты с голубкою, и пусть она на цепочке собачку держит. Мальчишечку моего тоже, а главное, побольше винных амфор, хорошо запечатанных, чтобы вино не вытекло. Конечно, изобрази и урну разбитую, и отрока, над ней рыдающего. В середине – часы, так чтобы каждый, кто пожелает узнать, который час, волей-неволей прочел мое имя. Что касается надписи, то вот прослушай внимательно и скажи, достаточно ли она хороша по-твоему:

Здесь покоится

Г. Помпей Трималхион Меценатиан.

Ему заочно был присужден почетный сеvirат.

Он мог бы украсить собой любую декурию Рима, но не пожелал.

Благочестивый, мудрый, верный, он вышел из маленьких людей, оставил тридцать миллионов сестерциев и никогда не слушал ни одного философа.

Будь здоров и ты также.

72. Окончив чтение, Трималхион заплакал в три ручья. Плакала Фортуната, плакал Габинна, а затем и вся челядь наполнила триклиний рыданиями, словно ее уже позвали на похороны. Наконец даже и я готов был расплакаться, как

вдруг Трималхион объявил:

– Итак, если мы знаем, что обречены на смерть, почему же нам сейчас не пожить в свое удовольствие? Будьте же все здоровы и веселы! Махнем-ка все в баню: на мой риск! Не раскаетесь! Нагрелась она, словно печь.

– Правильно! – закричал Габинна. – Если я что люблю, так это из одного дня два делать. – Он соскочил с ложа босой и пошел за развеселившимся Трималхионом.

– Что скажешь? – обратился я к Аскилту. – Я умру от одного вида бани.

– Соглашайся, – ответил он, – а когда они направятся в баню, мы в суматохе убежим.

На этом мы сговорились и, проведенные под портиком Гитоном, достигли выхода; но там цепной пес залаял на нас так страшно, что Аскилт свалился в водоем. Я был порядочно выпивши, да к тому же я давеча и нарисованной собаки испугался; поэтому, помогая утопающему, я сам низвергся в ту же пучину. Спас нас дворецкий, который и пса унял, и нас, дрожащих, вытащил на сушу. Гитон же еще раньше ловким приемом сумел спастись от собаки; все, что получил он от нас на пиру, он бросил в лающую пасть, и пес, увлеченный едой, успокоился. Когда мы, дрожа от холода, попросили домоправителя вывести нас за ворота, он ответил:

– Ошибаетесь, если думаете, что отсюда можно уйти так же, как пришли. Никого из гостей не выпускают через те же самые двери. В одни приходят, в другие уходят.

73. Что было делать нам, несчастным, заключенным в новый лабиринт? Даже баня стала для нас желанной! Поневоле попросили мы, чтобы нас провели туда. Сняв одежду, которую Гитон развесил у входа сушиться, мы вошли в баню, как оказалось, узкую и похожую на цистерну для холодной воды, где стоял Трималхион, вытянувшись во весь рост. И здесь не удалось избежать его отвратительного бахвальства: он говорил, что ничего нет лучше, как купаться вдали от толпы, и что здесь раньше была пекарня. Наконец, устав, он уселся и, заинтересовавшись эхом бани, поднял к потолку свою пьяную рожу и принялся терзать песни Менекрата, как говорили те, кто понимал его язык. Некоторые из гостей, взявшись за руки, с громким пением водили хороводы вокруг ванны, другие щекотали друг друга и оглушительно орали. Третьи со связанными за спиной руками пытались поднимать с пола кольца; четвертые, став на колени, загибали назад голову, пытаясь ею достать пальцы на ногах. Покуда другие так забавлялись, мы спустились в гревшуюся для Трималхиона ванну. Когда мы несколько протрезвились, нас проводили в другой триклиний, где Фортуната разложила все свои богатства и где я заметил над светильником... и бронзовые фигурки рыбаков, а также столы из чистого серебра, и глиняные позолоченные кубки, и мех, из которого на глазах выливалось вино.

– Друзья, – сказал Трималхион, – сегодня впервые обрился один из моих рабов, малый на редкость порядочный и к

тому же скопидом. Итак, будем пировать до рассвета и веселиться.

74. Слова его были прерваны криком петуха; испуганный приметой, Трималхион приказал полить вином столы и обрызгать светильники; затем надел кольцо с левой руки на правую.

– Не зря, – сказал он, – подал нам знак этот глашатай: либо пожара надо ожидать, либо кто-нибудь по соседству дух испустит. Сгинь, сгинь! Кто принесет мне этого вестника, того я награжу.

Не успел он кончить, как уже притащили соседского петуха, и Трималхион приказал немедленно сварить его. Тотчас же петух был разрублен и брошен в горшок тем самым поваром-искусником, который птиц и рыб из свинины делал.

Пока Дедал пробовал кипящее варево, Фортуната молола перец на маленькой самшитовой мельнице. Когда и это угощение было съедено, Трималхион обратился к рабам:

– А вы что, еще не пообедали? Ступайте прочь! Пускай вас другие сменят!

Сейчас же ввалилась новая смена рабов. Уходящие кричали:

– Прощай, Гай!

Входящие:

– Здравствуй, Гай!

Тут впервые омрачилось наше веселье: среди вновь пришедших рабов был довольно хорошенький мальчик, и Три-

малхион, устремившись к нему, принялся целовать его вза-сос, а Фортуната, на том основании, что «право правдой крепко», начала ругать Трималхиона отбросом и срамником, который не может сдержатъ своей похоти. Под конец она прибавила:

– Собака!

Трималхион, разозленный этой бранью, швырнул ей в лицо чашу. Она завопила, словно ей глаз вышибли, и дрожащими руками закрыла лицо. Сцинтилла тоже опешила и прикрыла испуганную Фортунату своей грудью. Услужливый мальчик поднес к ее подбитой щеке холодный кувшинчик; приложив его к больному месту, Фортуната начала плакать и стонать.

– Как? – завопил рассерженный Трималхион. – Как? По-забыла, что ли, эта уличная арфистка, кем она была? Да я ее взял с рабьего рынка и в люди вывел! Ишь, надулась, как лягушка, и за пазуху себе не плюет. Колода, а не женщина! Однако рожденным в лачуге о дворцах мечтать не пристало. Пусть мне так поможет мой Гений, как я эту доморощенную Кассандру образумлю. Ведь я, простофиля, мог сто миллионов приданого взять! Ты знаешь, что я не лгу. Агафон, парфюмер соседней госпожи, соблазнял меня: «Советую тебе, не давай своему роду угаснуть». А я, добряк, чтобы не показаться легкомысленным, сам себе всадил топор в ногу. Хорошо же, уж я позабочусь, чтобы ты, когда я умру, из земли ногтями меня выкопать захотела; а чтобы ты теперь же по-

няла, чего добила, – я не желаю, Габинна, чтобы ты помещал ее статую на моей гробнице, а то и в могиле покоя мне не будет; мало того, пусть знает, как меня обижать, – не хочу я, чтоб она меня мертвого целовала.

75. Когда Трималхионовы громы поутихли, Габинна стал уговаривать его сменить гнев на милость.

– Кто из нас без греха, – говорил он, – все мы люди – не боги.

Сцинтилла тоже со слезами, заклиная Гением и называя Гаем, просила его умилоствиться.

– Габинна, – сказал Трималхион, не в силах удержать слезы, – прошу тебя во имя твоего благоденствия, плюнь мне в лицо, если я что недолжное сделал. Я поцеловал славного мальчика не за красоту его, а потому, что он усерден: десятичный счет знает, читает свободно, не по складам, сделал себе на суточные деньги фракийский наряд и на свой счет купил кресло и два горшочка. Разве не стоит он моей ласки? А Фортуната не позволяет. Что тебе померещилось, фря надутая? Советую тебе переварить это, коршун, и не вводить меня в сердце, милочка, а то отведаешь моего норова. Ты меня знаешь: что я решил, то гвоздем прибито. Но вспомним лучше о радостях жизни! Веселитесь, прошу вас, друзья; я и сам таким же, как вы, был, но благодаря своим доблестям стал тем, что есть. Только сердце делает человеком – все остальное чепуха: «Я хорошо купил, хорошо и продал». Каждый вам будет твердить свое. Я лопаюсь от счастья. А

ты, храпоидол, все еще плачешь? погоди, ты у меня еще о судьбе своей поплачешь. Да, как я вам уже говорил, своей честности обязан я богатством. Из Азии приехал я не больше вон этого подсвечника, даже каждый день по нему рост свой мерил; а чтоб скорей обрасти щетиной, мазал щеки и верхнюю губу ламповым маслом. И все же четырнадцать лет был я любимчиком своего хозяина; ничего тут постыдного нет – хозяйский приказ. И хозяйку ублаговторял тоже. Понимаете, что я хочу сказать. Но умолкаю, ибо я не из хвастунов.

76. Итак, с помощью богов я стал хозяином в доме, заполнив сердце господина. Чего больше? Хозяин сделал меня сонаследником Цезаря, я получил сенаторскую вотчину. Но человек никогда не бывает доволен: вздумалось мне торговать. Чтобы не затягивать рассказа, скажу коротко: снарядил я пять кораблей, нагрузил вином – оно тогда на вес золота было – и отправил в Рим. Но подумайте, какая неудача: все потонули. Это вам не сказки, а чистая быль! В один день Нептун проглотил тридцать миллионов сестерциев. Вы думаете, я пал духом? Ей-ей, даже не поморщился от этого убытка. Как ни в чем не бывало снарядили другие корабли больше и крепче, и с большей удачей, так что никто меня за человека малодушного почесть не мог. Знаете, чем больше корабль, тем он крепче. Опять нагрузил я их вином, свиной, благовониями, рабами. Тут Фортуната доброе дело сделала: продала все свои драгоценности, все свои наряды и мне сто золотых в руку положила. Это были дрожжи моего

богатства.

Чего боги хотят, то быстро делается. В первую же поездку округлил я десять миллионов. Тотчас же выкупил я все прежние земли моего патрона. Домик построил, рабов, скота накупил; к чему бы я ни прикасался, все выросло, как медовый сот. А когда я стал богаче, чем все сограждане, вместе взятые, тогда – руки прочь: торговлю бросил и стал вести дела через вольноотпущенников. Я вообще от всяких дел хотел отстраниться, да отговорил меня подвернувшийся тут случайно звездочет-гречонок по имени Серапа, человек поистине достойный заседать в совете богов. Он мне все сказал, даже то, что я сам позабыл, все мне до нитки и игольного ушка выложил; насквозь меня видел, разве что не сказал мне, что я ел вчера. Можно подумать, что он всю жизнь со мной прожил.

77. Но помнишь, Габинна, – это, кажется, при тебе было, – он сказал мне: «Ты таким-то образом добился своей госпожи. Ты несчастлив в друзьях. Никто тебе не воздает должной благодарности. Ты владелец огромных поместий. Ты отогреваешь на груди своей змею». Чего я вам еще не рассказал? Ах да, он предсказал, что мне осталось жить тридцать лет, четыре месяца и два дня. Кроме того, я скоро получу наследство. Вот какова моя судьба. И если удастся мне еще до самой Апулии имения расширить, тогда я могу сказать, что довольно пожил. Между тем, пока Меркурий бдит надо мною, я этот дом перестроил: помните, хижина была, а те-

перь – храм. В нем четыре столовых, двадцать спален, два мраморных портика; во втором этаже еще помещение; затем моя собственная опочивальня, логово этой гадюки, прекраснейшая каморка для привратника; и сколько ни будь у меня гостей, для всех место найдется. Одним словом, когда Скавр приезжал, нигде, кроме как у меня, не пожелал остановиться, хоть еще у его отца были приятели, что живут у самого моря. Многое еще есть в этом доме – я вам сейчас покажу. Верьте мне: асс у тебя есть, и цена тебе асс. Имеешь, еще иметь будешь. Так-то и ваш друг: был лягушкой, стал царем. Ну а теперь, Стих, притащи сюда одежду, в которой меня погребать будут. И благовония из той амфоры, из которой я велел омыть мои кости.

78. Стих не замедлил принести в триклиний белое покрывало и тогу с пурпурной каймой.

Трималхион потребовал, чтобы мы на ощупь попробовали, добротна ли шерсть.

– Смотри, Стих, – прибавил он, улыбаясь, – чтобы ни моль, ни мыши не испортили моего погребального убора, не то заживо тебя сожгу. Желая, чтобы с честью похоронили меня и все граждане чтоб добром меня поминали.

Сейчас же он откупорил склянку с нардом и нас всех обрызгал.

– Надеюсь, – сказал он, – что и мертвому это мне такое же удовольствие доставит, как живому.

Затем приказал налить вина в большой сосуд.

– Вообразите, – заявил он, – что вас на мою тризну позвали.

Но совсем тошно стало нам тогда, когда Трималхион, до омерзения пьяный, приказал ввести в триклиний трубачей, чтобы снова угостить нас музыкой. А потом, навалив на крайнее ложе целую грудку подушек, он разлегся на них и заявил:

– Представьте себе, что я умер. Скажите по сему случаю что-нибудь хорошее.

Трубачи затрубили похоронную песню. Особенно старался раб того распорядителя похорон: он был там почтеннее всех и трубил так громко, что перебудил всех соседей. Стражники, сторожившие этот околодок, вообразив, что дом Трималхиона горит, внезапно разбили дверь и принялись лить воду и орудовать топорами, как полагается. Мы, воспользовавшись случаем, бросили Агамемнона и пустились со всех ног, словно от настоящего пожара.

79. У нас не было в запасе факела, чтобы освещать путь в наших блужданиях, и молчаливая полночь не посылала нам встречных со светильником. Прибавьте к этому наше опьянение и небезопасность мест, и днем достаточно глухих. По крайней мере, с час мы едва волочили окровавленные ноги по острым камням мостовой, пока догадливость Гитона не вызволила нас. Предусмотрительный мальчик, опасаясь и при свете заблудиться, еще накануне сделал мелом заметки на всех столбах и колоннах, – эти черточки видны были

сквозь кромешную тьму и указали дорогу заблудившимся. Не меньше пришлось нам попотеть, когда мы пришли домой. Старуха хозяйка так нализалась с постояльцами, что хоть жги ее – не почувствовала бы; и пришлось бы нам ночевать на пороге, если бы не проходивший мимо курьер Трималхиона, владелец десяти повозок. Недолго раздумывая, он вышиб дверь и впустил нас в пролом...

Что за ночка, о боги и богини!

Что за мягкое ложе, где в объятиях

Жарких с уст на уста переливали

Наши души мы! Смертных треволненья,

Прочь ступайте! Мой бог! Сейчас умру я!

Но напрасно я радовался. Лишь только я ослабел от вина и мои руки бессильно повисли, Аскилт, тороватый на всяческие каверзы, среди ночи потихоньку выкрал у меня мальчика и перенес его на свое ложе. Без помехи натешившись чужим братцем, – а братец или не слышал, или делал вид, что не слышит, – он заснул в краденых объятиях, забыв все человеческие законы. Я же, проснувшись, напрасно шарил руками по своему безрадостно осиротевшему ложу. Верьте слову влюбленного! Я долго колебался, не пронзить ли мне их обоих мечом, чтобы они, не просыпаясь, уснули навеки. Но затем я принял решение менее опасное и, разбудив шлепками Гитона, зверски уставился на Аскилта и сказал:

– Своим поступком ты честность запятнал, ты дружбу на-

шу разрушил. Собирай поэтому скорее свои пожитки и ступай искать другое место для своих пакостей.

Аскилт не возражал, но когда мы добросовестно разделили имущество, он заявил:

– Теперь давай и мальчика поделим.

80. Я сперва вообразил, что он шутит на прощание; но он, сжимая братоубийственной рукою рукоять меча, произнес:

– Не попользуешься ты добычей, которую один ты хочешь лелеять. Я возьму свою долю, хотя бы вот этим мечом пришлось ее отрезать.

Я со своей стороны сделал то же и, обернув руку плащом, приготовился к бою. Несчастный мальчик, пока мы оба столь плачевно безумствовали, с громкими рыданиями обнимал наши колена, умоляя нас не уподоблять этого жалкого трактира Фивам, не обагрять братскую кровью святыню нежнейшей дружбы.

– Если, – восклицал он, – должно совершиться убийство, то вот мое горло! Сюда обратите руки! Сюда направьте мечи! Пусть умру я, разрушивший священные узы дружбы!

Тронутые этими молениями, мы вложили мечи в ножны.

– Я, – заговорил Аскилт, – положу конец раздору. Пусть мальчик идет за тем, за кем хочет. Пусть будет дана ему полная свобода в выборе брата.

Я, полагая, что давнишняя привычка достигла прочности кровных уз, ничего не боялся и, с опрометчивой поспешностью ухватившись за предложение, передал свою судьбу в ру-

ки судьи; он же, ни мгновения не помедлив, не задумавшись, при последних словах моих поднялся... и избрал братом Аскилта. Как громом пораженный таким оборотом дела, я, точно не было у меня меча, рухнул на кровать и, наверное, наложил бы на себя преступные руки, если бы не боялся еще увеличить торжество врага. Исполненный гордости, Аскилт удалился со своей добычей и бросил недавно дорогого ему товарища и собрата в счастье и в несчастье одинокого, на чужой стороне.

Дружба имя свое хранит, покуда полезна:
Камешек так по доске ходит туда и сюда.
Если Фортуна – за вас, мы видим, друзья, ваши лица,
Если изменит судьба, гнусно бежите вы прочь.

Труппа играет нам мим: вон тот называется сыном,
Этот отцом, а другой взял себе роль богача...
Но окончился текст, и окончились роли смешные,
Лик настоящий воскрес, лик балаганный пропал.

81. Однако недолго предавался я плачу, опасаясь, как бы в довершение всех бед не застал меня, одинокого, на этом постоялом дворе младший учитель Менелай; я собрал свои пожитки и, печальный, перебрался в укромный уголок неподалеку от морского берега. Три дня провел я там безвыходно, терзаясь мыслями о своем одиночестве. Я бил кулаками мою наболевшую грудь, испуская глубокие стоны и непрерывно

восклищая:

– Ужели не поглотит меня, расступившись, земля или море, жестокое даже к невинным? Затем разве я избег правосудия, обманом спас жизнь на арене, убил приютившего меня хозяина, чтобы после стольких дерзновенных поступков жалким, одиноким изгнанником валяться в трактире греческого городка? И кто же, кто обрек меня этому одиночеству? Юнец, погрязший во всяческом сладострастии, по собственному признанию достойный ссылки! Разврат освободил его, разврат дал ему права гражданства... А другой? О боги! Он и в день совершеннолетия вместо мужской тоги надел столу; мать убедила его не быть мужчиной; на рабской каторге служил он женщиной; и этот мальчишка, словно банкрот, все бросил и нашел новое поле для своей похоти, а нашу старую дружбу предал и – о, стыд! – словно блудница, все продал за единую ночь. И теперь влюбленные лежат, обнявшись, целыми ночами и, верно, когда утомятся взаимными ласками, издеваются надо мной, одиноким; но даром им это не пройдет! Или не по праву зовусь я мужчиной и свободнорожденным, или смою обиду их зловредной кровью!

82. Тут я препоясался мечом и, чтобы слабость не одолела во мне воинственности, подкрепился пищей плотнее обыкновенного. Выбежав на улицу, я как сумасшедший заметался по портикам. Но пока я с искаженным лицом мечтал об убийстве и крови и дрожащей рукою то и дело хватался за рукоятку меча-мстителя, приметил меня какой-то воин, не

то в самом деле солдат, не то ночной бродяга.

– Эй, товарищ, – крикнул он мне, – какого легиона? Какой центурии?

А когда в ответ ему я весьма уверенно сочинил и легион и центурию, он заявил:

– Ладно, значит, в вашем отряде солдаты в туфлях разгуливают?

Догадавшись по смущенному выражению лица, что я наврали, он велел мне положить оружие и не доводить дела до беды. Ограбленный, потеряв всякую надежду на отмщение, поплелся я обратно в гостиницу, а спустя немного времени, успокоившись, в душе даже благодарил этого разбойника за его наглость...

В озере стоя, не пьет и нависших плодов не срывает
Царь злополучный, Тантал, вечным желаньем томим.
Выглядит так же богач, кто за все, что видит, боится
И всухомятку сидит, голод в желудке варя...

Не надо верить советам, ибо судьба имеет свои законы...

* * *

83. Я забрел в пинакотеку, славную многими разнообразными картинами. Здесь увидал я творения Зевксиды, победившие, несмотря на свою древность, все нападки; и первые

опыты Протогена, правдивостью способные поспорить с самой природой, к которым я всегда приближаюсь с каким-то душевным трепетом. Я восторгался также Апеллесом, которого греки зовут однокрасочным. Очертания фигур у него так тонки и так правдоподобны, что кажется, будто изображает он души. Здесь орел возносит в поднебесье бога. Там чистый Гилас отвергает бесчестную Няяду. Аполлон, проклиная виновные руки, украшает расстроенную лиру только что рожденным цветком.

При виде этих любовных картин я, забыв, что я не один в галерее, вскричал:

– Значит, и боги подвластны страсти? Юпитер не нашел на небе достойного избранника, но, согрешив на земле, он хоть никого не обидел. И Нимфа, похитившая Гиласа, наверное, обуздала бы свои страсти, знай она, что Геркулес придет тягаться из-за него. Аполлон обратил прах любимого юноши в цветок; и всегда любовь в этих сказках не омрачена соперничеством. А я принял в дом свой гостя, жестокостью превзошедшего Ликурга.

Но вот, в то время как я бросал слова на ветер, вошел в пинакотеку седовласый старец с лицом человека, потрепанного жизнью, но еще способного совершить нечто великое; платье его было не весьма блестяще, и, видимо, он принадлежал к числу тех писателей, которых богатые обычно терпеть не могут. Подойдя, он стал подле меня и сказал:

– Я – поэт, и, надеюсь, не из последних, если только можно

полагаться на венки, которые часто и неумелым присуждают. Ты спросишь, почему я так плохо одет? Именно поэтому: любовь к искусству никого еще не обогатила.

Кто доверяет волнам – получит великую прибыль,
Кто в лагеря и в битвы спешит – опояшется златом;
Льстец недостойный лежит на расписанном пурпуре
пьяный,
Тот, кто замужних матрон утешает, грешит не задаром,
Лишь Красноречье одно, в одежде оледенелой,
Голосом слабым зовет забытые всеми Искусства.

84. Одно несомненно: враг порока, раз и навсегда избравший в жизни прямой путь и так уклонившийся от нравов толпы, вызывает всеобщую ненависть, ибо ни один не одобрит того, кто на него не похож. Затем те, кто стремится лишь к обогащению, не желают верить, что есть у людей блага выше тех, за которые держатся они. Превозносите сколько угодно любителей литературы – богачу все равно покажется, что деньги сильнее ее...

* * *

– Не понимаю, как это так бедность может быть сестрой высокого ума...

* * *

– О, если бы соперник, принудивший меня к воздержанию, был столь чист душой, что мог бы внять просьбам! Но он – ветеран среди разбойников и наставник всех сводников...

* * *

85. [Эвмолп] Когда квестор, у которого я служил, привез меня в Азию, я остановился в Пергаме. Оставался я там очень охотно не столько ради удобств дома, сколько ради красоты хозяйского сына; однако я старался изыскать способ, чтобы отец не мог заподозрить моей любви. Как только за столом начинались разговоры о красивых мальчиках, я приходил в такой искренний раж, с такой суровой важностью отказывался осквернять свой слух непристойными разговорами, что все, в особенности мать, стали смотреть на меня как на философа. Уже я начал водить мальчика в гимнасий, руководить его занятиями, учить его и следить за тем, чтобы ни один из охотников за красавцами не проникал в дом. Однажды, в праздник, покончив уроки раньше обыкновенного, мы лежали в триклинии – ленивая истома, последствие долгого и веселого праздника, помешала нам добраться до на-

ших комнат. Среди ночи я заметил, что мой мальчик бодрствует. Тогда я робким шепотом вознес моление.

– О Венера-владычица! – сказал я. – Если я поцелую этого мальчика так, что он не почувствует, то наутро подарю ему пару голубок.

Услышав о награде за наслаждение, мальчик принялся храпеть. Тогда, приблизившись к притворщику, я осыпал его поцелуями. Довольный таким началом, я поднялся ни свет ни заря и принес ему ожидаемую пару отменных голубок, исполнив свой обет.

86. На следующую ночь, улучив момент, я изменил молитву.

– Если дерзкой рукой я поглажу его и он не почувствует, – сказал я, – я дам ему двух лучших боевых петухов.

При этом обещании милый ребенок сам придвинулся ко мне, опасаясь, видимо, чтобы я сам не заснул. Успокаивая его нетерпение, я с наслаждением гладил его, сколько мне было угодно. На другой же день, к великой его радости, принес ему обещанное. На третью ночь я при первой возможности придвинулся к уху притворно спящего.

– О боги бессмертные! – шептал я. – Если я добьюсь от спящего счастья полного и желанного, то за такое благополучие я завтра подарю ему превосходного македонского скакуна, при том, однако, условии, что мальчик ничего не заметит.

Никогда еще мальчишка не спал так крепко... С раннего утра засел он в спальне, нетерпеливо ожидая обещанного.

Но, сам понимаешь, купить голубок или петухов куда легче, чем коня; да и побаивался я, как бы из-за столь крупного подарка не показалась щедрость моя подозрительной. Поэтому, проведив несколько часов, я вернулся домой и, взамен подарка, поцеловал мальчика. Но он, оглядевшись по сторонам, обвинил мою шею руками и осведомился:

– Учитель, а где же скакун?

* * *

87. – Хотя этой обидой я заградил себе проторенный путь, однако скоро вернулся к прежним вольностям. Спустя несколько дней, попав снова в обстоятельства благоприятные и убедившись, что родитель храпит, я стал уговаривать отрока смилостивиться надо мной, то есть позволить мне доставить ему удовольствие, словом, все, что может сказать долго сдерживаемая страсть. Но он, рассердившись всерьез, твердил все время: «Спи, или я скажу отцу».

Но нет трудности, которой не превозмогло бы нахальство! Пока он повторял: «Разбужу отца», я подполз к нему и при очень слабом сопротивлении добился успеха. Он же, далеко не раздосадованный моей проделкой, принялся жаловаться: и обманул-то я его, и насмеялся, и выставил на посмешище товарищам, перед которыми он хвастался моим богатством.

– Но ты увидишь, – заключил он, – я совсем на тебя не похож. Если ты чего-нибудь хочешь, то можешь повторить.

Итак, я, забыв все обиды, помирился с мальчиком и, воспользовавшись его благосклонностью, погрузился в сон. Но отрок... не удовлетворился простым повторением. Потому он разбудил меня вопросом: «Хочешь еще?» Этот труд еще не был мне в тягость. Когда же он, при сильном с моей стороны охании и великом потении, получил желаемое, я, изнемогши от наслаждения, снова заснул. Менее чем через час он принялся меня тормошить, спрашивая:

– Почему мы больше ничего не делаем?

Тут я, в самом деле обозлившись на то, что он все меня будит, ответил ему его же словами:

– Спи, или я скажу отцу!

88. Ободренный этими рассказами, я стал расспрашивать старика, как человека довольно сведущего, о времени написания некоторых картин, о темных для меня сюжетах, о причинах нынешнего упадка, сведшего на нет искусство, – особенно живопись, исчезнувшую бесследно.

– Алчность к деньгам все изменила, – сказал он. – В прежние времена, когда царствовала нагая добродетель, цвели благородные искусства, и люди соревновались друг с другом, чтобы ничто полезное не осталось скрытым от будущих поколений. Демокрит, этот второй Геркулес, выжимал соки разных трав и всю жизнь свою провозился с камнями да растениями, силясь открыть их живительную силу. Евдокс состарился на горной вершине, следя за движением светил; Хрисипп трижды очищал чемерицей душу, дабы подвигнуть

ее к новым исканиям. Обратимся к ваянию: Лисипп умер от голода, не в силах оторваться от работы над отделкой одной статуи; Мирон, скульптор столь великий, что, кажется, он мог в меди запечатлеть души людей и животных, не оставил наследников. Мы же, погрязшие в вине и разврате, не можем даже завещанного предками искусства изучить; нападая на старину, мы учимся и учим только пороку. Где диалектика? Где астрономия? Где вернейшая дорога к мудрости? Кто, спрашиваю я, ныне идет в храм и молится о постижении высот красноречия и глубин философии? Теперь даже о здоровье не молятся; зато, только ступив на порог Капитолия, один обещает жертву, если похоронит богатого родственника, другой – если выкопает клад, третий – если ему удастся при жизни сколотить тридцать миллионов. Даже учитель добродетели и справедливости, Сенат, обыкновенно обещает Юпитеру Капитолийскому тысячу фунтов золота; и чтобы никто не гнушался корыстолюбием, он даже самого Юпитера умилоствует деньгами. Не удивляйся упадку живописи: людям ныне груды золота приятнее творений какого-нибудь сумасшедшего грека – Апеллеса или Фидия.

89. Но я вижу, ты уставился на картину, где изображено падение Трои, – поэтому попробую стихами рассказать тебе, в чем дело:

Уже фригийцы жатву видят десятую
В осаде, в жутком страхе; и колеблется

Доверье эллинов к Калханту вещему.
Но вот влекут по слову бога Делийского
Деревья с Иды. Вот под секирой падают
Стволы, из коих строят коня зловещего,
И, отворив во чреве полость тайную,
Скрывают в ней отряд мужей, разгневанных
Десятилетней бойней. Спрятались мрачные
В свой дар данайцы и затаили месть в душе.
О родина! Мы верим: все корабли ушли,
Земля от войн свободна. Всё нам твердит о том:
И надпись, что на коне железом вырезана,
И Синоп, во лжи могучий на погибель нам.

Уже бежит из ворот толпа свободная,
Спешит к молитве; слезы по щекам текут:
У робких слезы льются и от радости,
Но страх их осушил, когда, распустив власы,
Нептуна жрец, Лаокоон, возвысил глас,
Крича над всей толпою, и метнул копьё
Коню во чрево, но ослабил руку рок,
И дрот отпрянул, легковерных вновь убедив.
Вотще вторично он подымлет бессильно длань
И бок разит секирою двуострою:
Загремели доспехи в чреве скрытых юношей,
Загрохотав, громада деревянная
Дохнула на троянцев чуждым ужасом.
Везут в коне плененных, что пленят Пергам,
Войну закончат хитростью невиданной.

Вот снова чудо! Где Тенедос из волн морских
Хребет подьмлет, там вскипает гордый вал,
Дробится и, отхлынув, обнажает дно.
Так точно плеск гребцов в тиши разносится,
Когда по морю ночью корабли плывут
И громко стонет гладь под ударами дерева.
Мы оглянулись: вот два змея кольчатых
Плывут к скалам, раздувши груди грозные,
Как две ладьи, боками роют пену волн
И бьют хвостами. В море их гривы вольные
Налиты кровью, как глаза; блеск молнии
Зажег валы, от шипа змей дрожащие...
Все онемели... Вот в повязках жреческих,
В одежде фригийской оба близнеца стоят,
Лаокоона дети. Змеи блестящие
Обвили их тела, и каждый ручками
Уперся в пасть змеи, стараясь вызволить,
Но не себя, а брата, в братской верности,
И за другого страх сгубил обоих детей.
К их гибели прибавил смерть свою отец,
Спаситель бессильный. Ринулись чудовища
И, сытые смертью, наземь увлекли его.
И вот, как жертва, жрец меж алтарей лежит,
Жалея Трою. Так, осквернив алтарь святой,
Утратил помощь богов наш город гибнущий.

Едва взошла на небо Феба полная,
Ведя за лучистым ликом светила меньшие,
Как средь троянцев, сном и вином раздавленных,

Данайцы, отперев коня, выходят вон.
С мечом в руках, вожди их силы пробуют, –
Так часто, Фессалийский конь стреноженный,
Порвавши путы, мчит, и развеивается
Густая грива, и голова закинута.
Обнажив клинки, щиты сжимая круглые,
Враг начинает бой. Тот опьяненных бьет
И превращает в смерть их безмятежный сон,
А этот, зажегши факел о святой алтарь,
Огнем святынь троянских с Троей борется.

90. Но тут люди, гуляющие под портиками, принялись швырять камнями в декламирующего Эвмолпа. Он же, привыкший к такого рода поощрению своих талантов, закрыл голову и опрометью бросился из храма. Я испугался, как бы и меня не приняли за поэта, и побежал за ним до самого побережья; как только мы вышли из полосы обстрела, я обратился к Эвмолпу:

– Скажи, пожалуйста, что это за болезнь у тебя? Неполных два часа говорил я с тобою, и за это время ты произнес больше поэтических слов, чем человеческих. Неудивительно, что народ преследует тебя камнями. Я в конце концов тоже наложу за пазуху булыжников и, если ты опять начнешь неистовствовать, пущу тебе кровь из головы.

– Эх, юноша, юноша, – ответил Эвмолп, – точно мне в дикинку подобное обращение: как только я войду в театр для декламации – всегда толпа устраивает мне такую же встречу.

Но, чтобы не поссориться и с тобою, я на весь сегодняшний день воздержусь от этой пищи.

– Да нет, если ты клянешься на сегодня удержаться от словоизвержения, то отобедаем вместе...

* * *

Я поручаю сторожу моего жилища приготовить скромный обед...

* * *

91...вижу: прислонившись к стенке, с утиральниками и скребницами в руках, стоит Гитон печальный, смущенный. Видно было, что на новой службе удовольствия немного. Стал я к нему присматриваться, а он обернулся и с повеселевшим лицом воскликнул:

– Сжался, братец! Когда поблизости нет оружия, я говорю от души: отними меня у этого кровожадного разбойника, а за проступок, в котором я искренне каюсь, накажи своего судью как хочешь. Для меня, несчастного, будет утешением и погибнуть по твоей воле.

Опасаясь, как бы нас не подслушали, я прервал его жалобы. Оставив Эвмолпа, – он и в бане не унялся и снова задекламировал, – темным, грязным коридором я вывел Гито-

на на улицу и поспешил в свою гостиницу. Заперев двери, я крепко обнял его и поцелуями вытер слезы на его лице. Долго ни один из нас не находил слов: все еще трепетала от рыданий грудь милого мальчика.

– О, преступная слабость! – воскликнул я наконец. – Ты меня бросил, а я тебя люблю; в этой груди, где зияла огромная рана, не осталось даже рубца. Что скажешь, потворщик чужой любви? Заслужил ли я такую обиду?

Лицо Гитона, когда он услышал, что любовь во мне жива, прояснилось...

* * *

– Никого, кроме тебя, не назначил я судьей нашей любви! Но я все забуду, перестану жаловаться, если ты действительно, по чистой совести, хочешь загладить свой проступок.

Так, со слезами и стонами, изливал я перед Гитоном свою душу. Он же говорил, вытирая плащом слезы:

– Энколпий, я взываю к твоей памяти: я ли тебя покинул или ты меня предал? Не отрицаю и признаю, что, видя двух вооруженных, я пошел за сильнейшим.

Тут я, обняв руками его шею, осыпал поцелуями грудь, полную мудрости, и, дабы он не сомневался в прощении и в искренней дружбе, вспыхнувшей в моем сердце, прильнул к нему всем телом.

92. Уже совсем стемнело и хозяйка хлопотала, пригото-

для заказанный обед, когда Эвмопл постучался в дверь.

– Сколько вас? – спрашиваю я, а сам выглядываю в дверную щелку, нет ли с ним Аскилта. Убедившись, что он один, я тотчас же впустил гостя. Он первым делом разлегся на койке и, увидав накрывавшего на стол Гитона, кивнул мне головой и сказал:

– А Ганимед твой недурен. Мы нынче прекрасно устроимся.

Это начало мне не слишком понравилось, и я испугался, не принял ли я в дом второго Аскилта. Когда же Гитон поднес ему выпить, он привстал со словами:

– Во всей бане нет никого, кто был бы мне больше по душе, чем ты.

С жадностью осушив кубок, он начал уверять, что никогда еще не было ему горше, чем сегодня.

– Ведь меня, – жаловался он, – пока я мылся, чуть не избили только за то, что я вздумал прочесть сидевшим на закраине бассейна одно стихотворение; когда же меня из бани вышибли – совсем как, бывало, из театра, я принялся рыскать по всем углам, во все горло призывая Энколпия. С другой стороны, какой-то молодой человек, совершенно голый – он, оказывается, потерял платье, – громко и ничуть не менее сердито звал Гитона. Надо мною даже мальчишки издевались, как над помешанным, нахально меня передразнивая; к нему же, наоборот, окружившая его огромная толпа относилась одобрительно и с почтительным изумлением. Ибо он

обладал оружием такой величины, что сам человек казался привешенным к этому амулету. О юноша работоспособный! Думаю, сегодня начнет, послезавтра кончит. А посему и за помощью дело не стало: живо отыскался какой-то римский всадник, как говорили, лишенный чести; завернув юношу в свой плащ, он повел его домой, видно, чтобы одному воспользоваться такой находкой. А я и своей бы одежи не получил от гардеробщика, не приведи я свидетеля. Настолько выгоднее упражнять уд, чем ум.

Во время рассказа Эвмолпа я поминутно менялся в лице: радуясь злоключениям нашего врага, печалюсь его удачам. Тем не менее я молчал, как будто вся эта история меня не касалась, и стал перечислять кушанья нашего обеда.

* * *

93. Все дозволенное – противно, и вялые, заблудшие души стремятся к необычному.

Не люблю доходить до цели сразу,
Не мила мне победа без препятствий.
Африканская дичь мне нежит нёбо,
Птиц люблю я из стран фасийских колхов,
Ибо редки они. А гусь наш белый
Иль утка с крылами расписными
Пахнут чернью. Клювыш за то нам дорог,
Что, пока привезут его с чужбины,

Возле Сиртов судов потонет много.
А барвена претит. Милей подружка,
Чем жена. Киннамон ценнее розы.
То, что стоит трудов, – всего прекрасней.

– Так вот как, – говорю, – ты обещал сегодня не стихоплетствовать? Сжался, пощади нас – мы никогда не побивали тебя камнями. Ведь если кто-нибудь из тех, что пьют тут же, в гостинице, пронюхает, что тут поэт, он всех соседей взбудоражит, и всех нас заодно вздуют. Сжался! Вспомни о пинакотеке или о банях.

Но Гитон, нежнейший из отроков, стал порицать мою речь, говоря, что я дурно поступаю, обижая старшего, и, забыв долг хозяина, бранью как бы уничтожаю любезно предложенное угощение. Он прибавил еще много учтивых и благовоспитанных слов, которые весьма шли к его прекрасной наружности.

94. – О, – воскликнул Эвмолп, – о, как счастлива мать, родившая тебя таким! Молодец! Редко сочетается мудрость с красотой. Не думай, что ты даром тратил слова: поклонника горячего обрел ты. Я возглашу хвалу тебе в песнях. Как учитель и хранитель, пойду я за тобою всюду, даже туда, куда ты не велишь ходить: этим я не обижу Энколпия, ибо он любит другого.

Тот солдат, что отнял у меня меч, хорошо послужил и Эвмолпу, а то бы я с его кровью излил все, что накопело у меня в душе против Аскилта. Гитон это заметил. Под предло-

гом, что идет за водой, он покинул комнату и своевременным уходом смягчил мой гнев.

– Эвмолп, – сказал я, поутихнув немного, – лучше уж ты говори стихами, чем выражать такие желания. Я вспыльчив, а ты похотлив. Ты видишь, что мы не сходимся характерами. Ты меня принимаешь за сумасшедшего? Так уступи безумию, иными словами, проваливай немедленно.

Пораженный этим заявлением, Эвмолп даже не спросил о причинах моего гнева, но поспешно выбежал из комнаты, запер меня, ничего подобного не ожидавшего, в комнате и, забрав с собой ключ, ринулся на поиски Гитона. Сидя взаперти, я решил повеситься и уже поставил кровать стоймя около стены, уже сунул голову в петлю, как вдруг двери распахнулись и в комнату вошли Гитон с Эвмолпом. Они вернули меня к жизни, не допустив до рокового шага. Гитон, немедленно перейдя от огорчения к гневу, поднял крик и, толкнув меня обеими руками, повалил на кровать.

– Ты ошибся, Энколпий, – вопил он, – полагая, что раньше меня можешь умереть. Я первый, еще в доме Аскилта, искал меч. Не найди я тебя, давно бы был я на дне пропасти: сам знаешь, за смертью далеко ходить не надо. Гляди же на то, чем хотел заставить меня любоваться.

С этими словами он выхватил из чехла у Эвмолпова слуги бритву и, дважды полоснув себя по шее, пал к нашим ногам. Я взвизгнул и, грохнувшись вслед за ним, тем же орудием пытался кончить жизнь. Но ни я боли не ощутил, ни у Гито-

на никакой раны не оказалось. Бритва была не выправлена и нарочно притуплена, чтобы приучать к смелости подмастерьев цирюльника и набить им руку. Поэтому и слуга не испугался, когда у него выхватили бритву, и Эвмолп не остановил театрального самоубийства.

95. Пока между влюбленными разыгрывалась эта комедия, в комнату вошел хозяин с новым блюдом и, увидев все это безобразие и людей, катающихся по полу, вскричал:

– Что вы – пьяны? Или беглые рабы? Или и то и другое? Кто это поставил кровать столбом? И зачем эти тайные приготовления? Ей-богу, вы за комнату платить не хотите и ночью удрать собираетесь! Но это вам даром не пройдет. Узнаете вы, что этот дом не сирой вдовице принадлежит, а Марку Маницию.

– Ты угрожать?! – гаркнул на него Эвмолп и закатил ему основательную оплеуху. Хозяин, изрядно насосавшийся со своими гостями, метнул в голову Эвмолпа глиняный горшок, который разбился об его лоб, а сам со всех ног бросился из комнаты. Эвмолп, не снеся оскорбления, схватил деревянный подсвечник и помчался вслед за ним, частыми ударами мстя за рассеченную бровь. Рабы и множество пьяных гостей выбежали на шум.

Я же, воспользовавшись случаем отомстить Эвмолпу, обратно его не пустил и, расплатившись с буйном тою же монетой, без всякой помехи собрался воспользоваться комнатой и ночью. Между тем поварята и всякая челядь насели

на изгнанника: один норовил ткнуть ему в глаза вертелом с горячими потрохами; другой, схватив кухонную рогатку, стал в боевую позицию; впереди всех какая-то старуха с гноющимися глазами в непарных деревянных сандалиях, подпоясанная грязнейшим холщовым платком, притащив огромную цепную собаку, науськивала ее на Эвмолпа. Но тот своим подсвечником отражал все опасности.

96. Мы видели всю эту суматоху сквозь дырку в двери, только что пробитую самим Эвмолпом: убегая из комнаты, он выломал ручку. Мне было приятно смотреть, как его бьют; Гитон же, по обычной своей доброте, все порывался распахнуть двери и броситься на помощь гибнувшему. Гнев мой еще не утих, я не мог сдерживать руки и дал сострадательному мальчику крепкого щелчка в голову... Он заплакал от боли и присел на постель. Я же то одним, то другим глазом подглядывал в дырочку и от души наслаждался бедствиями Эвмолпа, словно самым вкусным лакомством. Но тут в самую свалку врезались носилки, несомые двумя рабами; в них возлежал домоправитель Баргат, которого шум потасовки поднял из-за стола. Ходить он не мог, ибо болел ногами. Долго и сердито ругал он бродяг и пьяниц и вдруг, заметив Эвмолпа, вскричал:

– Ты ли это, превосходнейший поэт? И не рассеялись в мгновение ока пред тобою эти скверные рабы? И они посмели поднять на тебя руки?..

* * *

– Сожительница моя что-то нос задирать стала. Поэтому, если любишь меня, отделай ее в стихах, чтоб она устыдилась...

* * *

97. Пока Эвмолп перешептывался с Баргатом, в трактир вошел глашатай в сопровождении общественного служителя и изрядной толпы любопытных. Размахивая более дымящим, чем светящим факелом, он возгласил:

– Недавно сбежал из бань мальчик, шестнадцати лет, кудрявый, нежный, красивый, по имени Гитон. Тысяча нуммов тому, кто вернет его или укажет его местопребывание.

Тут же, рядом с глашатаем, стоял Аскилт в пестрой одежде, держа в руках серебряное блюдо с обещанной наградой и правительственным актом. Я приказал Гитону живо залезть под кровать и уцепиться руками и ногами за ремennую сетку, на которой держался тюфяк, и так, вытянувшись под тюфяком, спастись от рук сыщиков, как некогда спасался Улисс, вися под брюхом барана. Немедля Гитон повиновался и так умело повис на матрасе, что и Улисса за пояс заткнул. Я же, чтоб устранить всякое подозрение, набросал на кровать

одежду, придав ей такой вид, будто на ней сейчас валялся человек моего роста. Между тем Аскилт, осмотрев вместе с общественным служителем все комнаты, подошел и к моей и тут преисполнился надежд, тем более что нашел дверь тщательно запертой. Общественный служитель, всунув в щелку топор, живо сломал замок. Я упал к ногам Аскилта, заклиная его старой дружбой, памятью былых, вместе пережитых страданий еще хоть раз показать мне братца.

– Я знаю, Аскилт, – восклицал я, желая сделать более правдивыми мои притворные мольбы, – я знаю, ты убить меня пришел: иначе зачем тебе топоры? Насыть же гнев свой; на, руби мою шею, пролей кровь, за которой ты явился под предлогом иска.

Аскилт смягчился. Он сказал, что ищет лишь беглеца; он не хочет смерти молящего, тем более что человек этот ему, несмотря на размолвку, все-таки дорог.

98. Общественный же служитель тем временем не дремал, но, вырвав из рук трактирщика длинную трость, сунул ее под кровать и стал обыскивать каждую дырочку в стене. Затаив дыхание, Гитон, чтобы спастись от ударов, так крепко прижался к тюфяку, что лицом касался постельных клопов...

* * *

В комнату ворвался Эвмолп, которого теперь не удерживали сломанные двери.

– Мои! – завопил он в сильном возбуждении. – Моя тысяча нуммов: догоню сейчас глашатая, заявлю, что Гитон у тебя, и предам тебя, как ты того заслуживаешь.

Я обнял колени упиравшегося старика, умоляя не добивать умирающего.

– Ты бы не напрасно горячился, – говорил я, – если бы ты мог указать выданного тобою. В суматохе мальчик сбежал, не могу даже представить куда. Умоляю, Эвмолп, найди мальчика и возврати хотя бы Аскилту.

Пока я убеждал уже начинавшего верить Эвмолпа, Гитон, не имея сил дольше сдерживаться, трижды подряд чихнул так, что кровать затряслась. Эвмолп, оглянувшись на шум, пожелал Гитону долго здравствовать. Подняв матрас, он увидел нашего Улисса, которого и голодный Циклоп пощадил бы.

– Это что такое, разбойник? – спросил он. – Пойманный с поличным, ты еще смеешь врать? Ведь если бы некий бог, указующий пути человеческие, не заставил висящего мальчика подать мне знак, я бы сейчас метался по всем трактирам, ища его...

* * *

Гитон, куда более ласковый, чем я, первым долгом приложил к его рассеченному лбу намавленной паутины, затем, взяв себе его изодранное платье, одел Эвмолпа своим пла-

щом, обнял его и, когда тот размяк, стал ублажать его поцелуями.

– Под твое, дорогой отец, – говорил он, – под твое покровительство мы отдаем себя. Если ты любишь твоего Гитона, спаси его. Меня пусть сожжет злой огонь! Меня пусть поглотит бурное море! Я причина, я источник всех злодеяний! Погибну я, и враги помирятся...

* * *

99. – Я-то всегда и везде так живу, что стараюсь использовать всякий день, точно это последний день моей жизни... – сказал Эвмолп...

* * *

Со слезами просил и умолял я его вернуть мне свое расположение: любящие не властны в ужасном чувстве ревности, но впредь ни словом, ни делом я его не оскорблю. Пусть он, как подобает наставнику в искусстве прекрасного, излечит свою душу от этой язвы так, чтобы и рубца не осталось. Долго лежит снег на необработанных диких местах; но где земля сияет, укрошенная плугом, он тает скорее инея. Так же и гнев в сердце человеческом: он долго владеет умами дикими, скользит мимо утонченных.

– Знаешь, – сказал Эвмолп, – ты прав. Этим поцелуем я кончаю все ссоры. Вот! Итак, чтобы все пошло гладко, соберите вещи и идите за мной, или, если угодно, я пойду за вами.

Он еще не кончил, как кто-то громко постучался, и на пороге появился матрос со всклокоченной бородой.

– Чего ты копаешься, Эвмолп, – сказал он, – словно не знаешь, что надо поторапливаться?

Немедля мы встали, и Эвмолп, разбудив своего слугу, приказал ему нести поклажу. Я же, с помощью Гитона, свернул все, что нужно на дорогу, и, помолившись звездам, вышел на корабль.

* * *

100. «Неприятно, что мальчик приглянулся гостю? Но что же из того? Разве лучшее в природе не есть общее достоинство? Солнце всем светит. Луна с бесчисленным сонмом звезд даже зверей выводит на добычу. Что красивее воды? Однако для всех она течет. Почему же только любовь должно красть, а не получать в награду? Не желаю я благ таких, каким никто завидовать не будет. Притом – один, да еще старый, – совсем не опасен: если он и позволит себе что-нибудь, так из-за одной одышки у него ничего не получится».

Успокоив ревнивую душу такими уверениями и обернув туникой голову, я вздремнул. Вдруг, словно судьба нарочно

решила сломить мою стойкость, над навесом кормы чей-то голос проныл:

– Значит, он надо мной насмеялся?

Этот знакомый ушам моим мужской голос заставил меня вздрогнуть. Вслед за тем какая-то не менее возмущенная женщина сказала, кипя негодованием:

– Если какой-нибудь бог предаст Гитона в мои руки, устрою же я прием этому беглецу.

У нас обоих кровь в жилах застыла от этой неожиданности. Я, словно терзаемый страшным сновидением, долго не мог овладеть голосом. Пересилив себя, дрожащими руками я принялся дергать за полу спящего Эвмолпа:

– Заклинаю тебя честью, отец, можешь ли ты сказать мне, чей это корабль и кто на нем едет?

Недовольный беспокойством, Эвмолп проворчал:

– Затем ли ты заставил нас выбрать самое укромное место на палубе, чтобы не давать нам покоя? Прибавится тебя, что ли, если я скажу, что хозяин корабля – тарентинец Лих и везет он в Тарент изгнанницу Трифену?

101. Я затрепетал, как громом пораженный, и, обнажив себе шею, воскликнул:

– Ну теперь, судьба, ты окончательно добила меня!

А Гитон, лежавший у меня на груди, даже потерял сознание. Но лишь только, сильно пропотев, мы пришли в себя, я обнял колени Эвмолпа и сказал:

– Сжался над погибающими. Протяни нам руку помощи

ради общности твоих и моих желаний. Смерть уже около нас, и, если ты не спасешь нас, она будет для нас благодеянием.

Огорошенный тем, что мы боимся чьей-то ненависти, Эвмолп стал клясться богами и богинями, что не имел ни малейшего понятия о случившемся, что не было у него на уме никакого коварного обмана, что без всякой задней мысли и, напротив, с самой чистой совестью взял он нас с собою на это судно, на котором он заранее обеспечил себе место.

– Где же, – говорит, – тут опасность? И что это за Ганнибал такой едет с нами? Лих-тарентинец, скромнейший из людей, – хозяин не только этого судна, которым он сейчас правит, но, сверх того, еще и нескольких поместий, и торгового дома, и везет он теперь на корабле своем груз, который должен доставить на рынок. Таков этот Киклоп и архипират, который нас везет. Кроме него, на корабле находится еще прекраснейшая из женщин, Трифена, она ради своего удовольствия ездит по свету.

– Но это как раз те, от кого мы бежим, – возразил Гитон и тут же изложил оторопелому Эвмолпу причину их ненависти и угрожающей нам опасности. Старик, совсем растерявшись и не зная, что придумать, предложил каждому из нас высказать свое мнение.

– Представим себе, – добавил он, – что мы попали в пещеру к Киклопу и нам необходимо отыскать какой-нибудь способ из нее выбраться, если только, конечно, мы не предпочтем броситься в море и тем избавиться от всякой опас-

ности.

– Нет, – возразил ему на это Гитон, – ты лучше постарайся убедить кормчего зайти в какой-нибудь порт, за что, разумеется, ему будет заплачено. Скажи ему, что твой брат совсем помирает от морской болезни. А чтобы кормчий из сострадания уступил твоей просьбе, эту выдумку можешь приправить слезами и растерянным выражением лица.

– Это невозможно, – возразил Эвмолп, – большому судну нелегко зайти в порт, да и неправдоподобным может показаться, что брат ослабел так скоро. К тому же возможно, что Лих сочтет своей обязанностью взглянуть на больного. А ты сам знаешь, кстати ли нам будет звать хозяина к беглецам. Но допустим даже, что корабль может свернуть с пути к далекой цели, а Лих не станет обходить койки с больными; каким же образом сойдем мы на берег так, чтобы никто не обратил на нас внимания? С покрытыми головами или с непокрытыми? Если с покрытыми, то кто же не захочет подать больному руку? Если с непокрытыми, то не значит ли это – выдать себя с головой?

102. – А не лучше ли было бы, – воскликнул я, – пойти прямо напролом: спуститься по веревке в шлюпку и, обрезав канат, остальное предоставить судьбе? Тебе, Эвмолп, я, конечно, не предлагаю рисковать с нами. Что за необходимость невинному человеку подвергаться опасности из-за других? Я вполне удовольствуюсь надеждой на какой-нибудь случай, который может нам помочь во время спуска.

– Совет неслепой, – сказал Эвмолп, – если бы только была возможность им воспользоваться. Что же, по-твоему, так никто и не увидит, когда вы будете уходить? Особенно кормчий, который всю ночь напролет неусыпно наблюдает за движением созвездий? Если бы он даже и заснул, вы не могли бы надуть его иначе, как устроив побег с другой стороны судна. А спускаться вам придется как раз через корму, около самого руля, потому что именно там привязан канат, держащий лодку. Кроме того, я удивляюсь, Энколпий, как тебе не пришло в голову, что в лодке постоянно находится матрос, который днем и ночью стережет ее, и что этого караульного удалить оттуда никоим образом невозможно? Его, конечно, можно убить или силою выбросить за борт, но в состоянии ли вы это сделать – о том справьтесь у собственной смелости. А что до того, буду ли я сопровождать вас или не буду, то нет опасности, которую я отказался бы разделить с вами, если только она дает какую-нибудь надежду на спасение. Я думаю, что и вы не захотите ни с того ни с сего рисковать своей жизнью, словно она ничего не стоит. А вот что вы думаете на этот счет? Я положу вас между всяким платьем в кожаные мешки, свяжу их ремнями, и они будут находиться при мне, как моя поклажа. А чтобы вам можно было свободно дышать и принимать пищу, горловины у мешков придется, конечно, завязать неплотно. Потом я заявлю во всеуслышание, что, испугавшись сурового наказания, рабы мои ночью бросились в море. Когда же мы придем наконец в гавань, я

преспокойно вынесу вас на берег, как кладь, не навлекая на себя никаких подозрений.

– Великолепно! – говорю я. – Ты собираешься запаковать нас, точно мы со всех сторон закупорены, и нам не придется считаться с желудком, и точно мы не храпим и не чихаем. Разве я только что не провалился с подобной же хитростью? Но допустим, что мы даже сможем провести один день увязанные таким образом. Что же дальше? Вдруг нас дольше, чем следует, задержит на море штиль или сильная непогода? Что тогда делать? Ведь даже на одежде, которая долго оставалась запакованной, появляются складки; даже листы пергамента, если их связать вместе, в конце концов покоробятся. Так возможно ли, чтобы мы, юные и совершенно еще не привычные к таким тяготам, могли долго пролежать как истуканы в этой куче разного тряпья, увязанные ремнями?.. Нет, нужно постараться найти какой-нибудь другой путь к спасению. Вот лучше рассмотрите-ка то, что я придумал. У Эвмолпа, как у человека, занимающегося словесностью, непременно должны быть при себе чернила. Этим-то средством мы и воспользуемся: перекрасимся с головы до ног и так, превратившись в эфиопских рабов, будем служить тебе, радуясь, что и пыток несправедливых мы избежали, и фальшивой окраской врагов надули.

– Как бы не так! – сказал Гитон. – Ты, пожалуй, предложишь еще устроить нам обрезание, чтобы сделаться похожими на иудеев, и проколоть уши в подражание арабам, а чтобы

и галлы свободно могли принимать нас за своих, мелом натереть себе лица. Точно посредством одной только окраски можно изменить до неузнаваемости внешность, и нет никакой необходимости согласовать очень многое для того, чтобы обман хоть немного походил на правду. Допустим даже, что краска довольно долго не сойдет с лица, что вода, случайно попав на тело, не будет оставлять на нем никаких пятен, что чернила не перейдут нам на платье, – а они нередко пристают к нему даже и в том случае, когда к ним не прибавлено клея. Прекрасно, но каким образом сделаем мы до безобразия пухлыми свои губы? Разве мы сможем щипцами искурчавить себе волосы? Избороздить лбы рубцами? А как искривить нам свои ноги? Удлинить пятки? Откуда взять бороду на чужеземный манер? Искусственная краска пачкает тело, но не меняет его. Послушайте меня: в нашем отчаянии нам одно только осталось – замотаем головы в одежды и погрузимся в бездну.

103. – Ни боги, ни люди не должны допустить, – воскликнул Эвмолп, – чтобы вы кончили жизнь свою так постыдно. Нет. Лучше уж сделайте так, как я вам прикажу. Слуга мой, как вам известно после происшествия с бритвой, – цирюльник. Так вот, пусть он немедленно же обреет вам обоим не только головы, но и брови. Я же сделаю на лбу у каждого из вас по искусной надписи, чтобы вас принимали за клейменных. Эти буквы прикроют ваши лица пятном позорного наказания и отвлекут от вас подозрения ищущих.

Не откладывая дела, мы, крадучись, отошли к одному из корабельных бортов и отдали головы вместе с бровями во власть циркульника. Затем Эвмолп громадными буквами украсил нам обоим лбы и щедрой рукой вывел через все лицо общеизвестный знак беглых рабов. Как на грех один из пассажиров, перегнувшись через корабельный борт, облегчал страдающий от морской болезни желудок. Он заметил при свете луны, как циркульник трудится в неурочный час. Проклявши наше бритье, как скверное предзнаменование, потому что оно слишком напоминало обычную последнюю жертву при кораблекрушении, он снова повалился на койку. Не обратив внимания на проклятия блюющего, мы снова приняли печальный вид и, соблюдая полную тишину, провели остальные часы этой ночи в тревожном полусне...

* * *

104. [Лих] –...Сегодня ночью явился мне во сне Приап и сказал: «Да будет тебе известно, что я привел на твой корабль Энколпия, которого ты ищешь».

Трифена вздрогнула и проговорила:

– Подумать только! Мы с тобой точно одним сном спали. Ведь и мне приснилось, будто явилась ко мне статуя Нептуна, которую я видела в Байях, в галерее, и сказала: «Гитона ты найдешь на корабле у Лиха».

– А знаешь, – заметил на это Эвмолп, – божественный

Эпикур осуждает эту чепуху в остроумнейших речах!

Сны, что, подобно теням, порхая, играют мами,
Не посылаются нам божеством ни из храма, ни с неба,
Всякий их сам для себя порождает, покуда на ложе
Члены объемлет покой и ум без помехи резвится,
Ночью дневные дела продолжая. Так, воин, берущий
Город на щит и огнем пепеляющий несчастные стогна,
Видит оружие, и ратей разгром, и царей погребенье,
И наводненное кровью пролитою ратное поле.
Тот, кто хлопочет в судах, законом и форумом бредит
И созерцает во сне, содрогаясь, судебное кресло.
Золото прячет скупой и вырытым клад свой находит.
С гончими мчится ловец по лесам, и корабль свой спасает
В бурю моряк или сам, утопая, хватает обломки.
Пишет блудница дружку. Матрона любовь покупает.
Пес легавый во сне преследует с лаем зайчонка.
Так же во мраке ночей продолжают муки страдальцев.

Несмотря на это, Лих, по случаю сна Трифены, совершил очистительный обряд и сказал:

– Никто не помешает нам произвести на корабле обыск, чтобы не казалось, будто мы пренебрегаем указаниями божественного промысла.

Вдруг Гес, тот самый пассажир, что заметил ночью нашу злосчастную проделку, воскликнул:

– Кто же это, однако, брился сегодня ночью при лунном свете, подавая, право слово, самый скверный пример? Я не

раз слышал, что никому из смертных, если море спокойно, нельзя, находясь на корабле, стричь ни волос, ни ногтей.

105. Встревоженный этими словами, Лих вспыхнул от гнева и крикнул:

– Неужели кто-нибудь решился снять свои волосы на корабле, да еще глубокой ночью? Немедленно доставить мне сюда виновных! Я хочу знать, чьей кровью придется очистить оскверненное судно.

– Это было сделано по моему приказу, – сказал Эвмолп. – Право, хоть это и зловещая примета, я не хотел подвергать опасности корабль, на котором и сам плыву. Но ведь у этих преступников были очень длинные спутанные волосы, а мне не хотелось, чтобы твой корабль походил на тюрьму, – поэтому и велел осужденным снять с себя всю эту мерзость. Вместе с тем я имел в виду, чтобы каждому бросались в глаза все их клейма, которые до сих пор под прикрытием косм были недостаточно заметны. Они, между прочим, виноваты в том, что растратили мои деньги у общей подружки, откуда я извлек их прошлой ночью, залитых вином и благовониями. В общем, от них и теперь еще пахнет остатками моего состояния...

* * *

Но, чтобы умиловить Тутелу корабля, Лих все-таки приказал всыпать каждому из нас по сорока ударов, что и

было сделано немедленно же. К нам с веревками в руках приступили свирепые матросы с намерением ублажить Тутелу нашей презренной кровью. Что до меня, то первые три удара я переварил с мужеством истинного спартамца. А Гитон, наоборот, после первого же удара издал такой пронзительный крик, что до уха Трифены сразу же донесся хорошо знакомый голос. Этот привычный звук всполошил не только ее, но и всех ее служанок, которые немедленно устремились к наказуемому. Уже Гитон удивительной красотой своею обезоружил жестоких матросов и начал без слов умолять их о пощаде, когда служанки в один голос воскликнули:

– Да это Гитон! Гитон!.. Удержите ваши безжалостные руки!.. Это Гитон! Госпожа! На помощь!

Трифена и слушать не стала: она и без того убеждена была в этом и стрелой полетела к мальчику. Лих, великолепно меня знавший, тоже прибежал, будто и он услышал знакомый голос. Он не стал рассматривать ни моих рук, ни лица, но тотчас же направил свои взоры на другое место и, приветливо пожав его, сказал:

– Здравствуй, Энколпий.

Еще некоторые удивляются, что кормилица Улисса через двадцать лет отыскала рубец, указывающий на его происхождение, в то время как этому мудрецу, несмотря на все перемены в чертах моего лица, достаточно было этого единственного указания, чтобы так блестяще обнаружить своего беглого слугу. Тут Трифена, поддавшись обману, залилась

горькими слезами; обратив внимание на буквы, она подумала, что лбы наши на самом деле заклеены. Затем тихим голосом принялась выспрашивать, в какую тюрьму посадили нас за бродяжничество и чьи жестокие руки решились на такое мучительство; впрочем, проявив за все ее добро одну только черную неблагодарность и убежав, мы все же заслужили наказание.

106. Тут Лих выскочил вперед и в сильном гневе воскликнул:

– О простодушная женщина! Да разве эти буквы выжжены железом? О, если бы чело их на самом деле осквернено было подобными надписями! Каким бы это нам послужило утешением! Теперь же мы стали жертвой шутовской проделки; эти поддельные надписи – насмешка над нами.

В Трифене не совсем еще потухла прежняя страсть; поэтому она предлагала сжалиться над нами. Но Лих, памятуя о соращении жены и оскорблениях, некогда нанесенных ему в портике Геркулеса, с еще большим возмущением на лице воскликнул:

– По-моему, ты могла убедиться, Трифена, что бессмертные боги принимают участие в человеческих делах. Ведь это они привели к нам на корабль ничего не подозревающих преступников, а нас двумя совершенно сходными сновидениями предупредили о том, что сделали. Так вот теперь и смотри сама, хорошо ли будет, если мы простим тех, кого само божество привело сюда для возмездия. Что до меня, то я со-

всем не жесток, однако боюсь, как бы самому не пришлось претерпеть то, от чего я их избавлю.

Под влиянием столь суеверных слов Трифена переменяла мнение и стала утверждать, что она вовсе не против наказания и, наоборот, даже настаивает на этом, пожалуй, весьма справедливом, возмездии, так как оскорблена ничуть не менее Лиха, достоинство и честь которого самым постыдным образом осмеяны были на глазах у всех...

107. [Эвмолп] –... Меня, как человека тебе неизвестного, они выбрали для переговоров и просили примирить между собою бывших закадычных друзей. Не думаете же вы в самом деле, что эти юноши чисто случайно попали в такую беду; ведь каждый пассажир первым долгом старается узнать, чьему попечению он вверяет свое благополучие. Вы же, получив такое удовлетворение, смените гнев на милость и позвольте свободнорожденным людям без недостойных оскорблений ехать к месту назначения. Даже самый безжалостный и неумолимый господин старается обыкновенно сдерживать свою жестокость, если раскаяние приводит обратно беглого раба, и даже врагов мы щадим, если они сдаются. Чего же вы еще добиваетесь? Чего хотите? Вот они перед глазами вашими – коленопреклоненные, оба молодые, благородные, незапятнанные и, что важнее всего, некогда вам близкие. Если бы они даже растратили ваши деньги, если бы предательством осквернили ваше доверие – то и тогда, клянусь Геркулесом, вы могли бы удовольствоваться поне-

сенным ими наказанием. Вот вы видите на лбах у них знаки рабства, видите благородные лица, заклеянные добровольным покаянием.

Тут Лих перебил Эвмолпа среди просьб и ходатайств и сказал:

– Ты не вали все в одну кучу, а возьми лучше каждую вещь в отдельности. Прежде всего, если они пришли сюда по своей собственной воле, то зачем же в таком случае обрили себе головы? Кто меняет свой облик, тот готовится обмануть, а не дать удовлетворение. Затем, допустим, что они на самом деле решили добиваться через тебя примирения с нами; почему же ты делал все, чтобы скрыть от нас своих подзащитных? Отсюда следует, что преступники действительно лишь благодаря случаю попали под палку, а ты хитростью пытался провести нашу бдительность. Ты стараешься очернить наше дело, крича, что они свободнорожденные и честные. Но смотри, как бы защита твоя не проиграла от этого заявления. Что же должен делать оскорбленный, когда виновник сам приходит к нему за возмездием?.. Они были нашими друзьями? Тем большего наказания они заслуживают: оскорбивший незнакомца зовется разбойником; оскорбивший друга приравнивается почти что к отцеубийце.

Эвмолп прервал эту неблагоприятную речь и сказал:

– Насколько я понимаю, несчастные юноши обвиняются более всего в том, что остриглись ночью. Одно только это и служит как будто доказательством того, что они случайно

попали на корабль, а не сами пришли. И мне бы очень хотелось, чтобы вы выслушали меня без всяких задних мыслей, так же, как они совершили это дело. Ведь они, еще до того как сесть на корабль, собирались освободить свои головы от тягостной и ненужной обузы; только слишком поспешное отплытие заставило их отложить на некоторое время выполнение этого намерения. Но они совершенно не предполагали, сколь многое будет зависеть от того, в каком месте они его исполнят: ибо не знали ни примет, ни обычаев морского плавания.

– А что за необходимость была брить себе головы, когда они решили просить прощения? – перебил его Лих. – Уж не потому ли, что плешивых будто бы жалеют сильнее? Но что толку искать правды через посредника? Что скажешь ты сам, разбойник? И что за саламандра уничтожила твои брови? И какому богу ты обещал принести в жертву свои волосы? Отвечай же, отравитель! Отвечай!

108. Объятый страхом перед наказанием, я замер и в смятении не находил слов, чтобы сказать хоть что-нибудь по поводу этого до очевидности ясного дела... К тому же я был очень смущен и до того обезображен постыдным отсутствием волос на голове и, главное, на бровях, которые теперь совершенно сровнялись со лбом, что мне казалось прямо неприличным что-нибудь сказать или сделать. Но когда кто-то проехался по моему заплаканному лицу мокрой губкой и, размазав чернила, слил все черты лица в одно черное пятно,

гнев Лиха перешел вдруг в ненависть.

Между тем Эвмолп стал говорить, что он не потерпит, чтобы кто-нибудь, вопреки законам божеским и человеческим, позорил людей свободных, и наконец принялся противодействовать угрозам наших палачей не только словом, но и делом. На помощь к нашему защитнику бросились его слуга и еще два-три пассажира; но последние были очень слабы и более поощряли к борьбе, чем действительно помогали ему. Я уже ни о чем для себя не просил, но, указывая руками прямо на Трифену, во все горло кричал, что если эта непотребная женщина, единственная на всем корабле достойная порки, не отстанет от Гитона, то я прогоню ее силой. Смелость моя еще более рассердила Лиха. Он вдруг вспыхнул и начал негодовать на то, что я, оставив свое собственное дело, наговорил так много, защищая другого. Не менее его разъярилась и Трифена, возмущенная моими оскорбительными словами. Тут все, кто только был на корабле, разбились на две враждебные партии. С одной стороны, слуга-цирюльник и сам вооружился, и нас наделил своими инструментами, с другой – челядь Трифены готовилась выступить на нас с голыми руками. И, само собою разумеется, дело наше не обошлось без громких криков служанок. Один только кормчий заявил, что, если не прекратится переполох, возникший из-за сладострастия каких-то прохвостов, он тотчас же перестанет управлять кораблем. Несмотря на это, все-таки продолжалась самая отчаянная свалка: они дрались ради мести,

мы – ради спасения жизни. С той и другой стороны многие свалились уже, хоть и не замертво, многие отступили, точно с поля сражения, покрытые кровью и ранами. И, однако, ярости от этого ни в ком не убавилось. Тут отважный Гитон поднес к своим чреслам смертоносную бритву, угрожая отрезать эту причину стольких злоключений; но Трифена, несколько не скрывая, что все ему простила, воспрепятствовала столь великому злодеянию. Я со своей стороны тоже не один раз приставлял к своей шее бритвенный нож, но намерение мое зарезаться было не серьезнее, чем угрозы Гитона. Только он еще смелее разыгрывал трагедию, зная, что в руках у него та самая бритва, которой он уже попробовал однажды перехватить себе горло.

Обе стороны все еще стояли друг против друга, и было очевидно, что бой опять разгорится с новой силой; но тут с большим трудом кормчему удалось убедить Трифену, чтобы она, взяв на себя обязанности парламентаря, устроила перемирие. И вот после того, как, по обычаю отцов, обе стороны обменялись клятвами, Трифена, держа перед собою оливковую ветвь, взятую из рук корабельной Тутелы, решилась начать переговоры:

Что за безумье, – кричит, – наш мир превращает в сраженье?

Чем заслужила того наша рать? Ведь не витязь троянский
Здесь на судне увозит обманом супругу Атрида,
И не Медея, ярясь, защищается братскою кровью.

Сила отвергнутой страсти мятется! О, кто призывает
Злую судьбу на меня, средь валов потрясая оружием?
Мало вам смерти одной? Не спорьте в свирепости с
морем

И в пучины его не лейте крови потоки.

109. После этих слов, произнесенных женщиной с волнением в голосе, войска колебались очень недолго, и призванные к миру дружины прекратили бой. Эвмолп, предводительствовавший нашей стороной, решил немедленно воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами и, произнеся прежде всего самое суровое порицание Лиху, заставил подписать скрижали мира, сими словесами вещавшие:

«Согласно твоему добровольному решению ты, Трифена, не будешь взыскивать с Гитона за причиненные им тебе неприятности; не будешь упрекать или мстить за проступки, буде таковые им до сего времени совершены; и вообще не будешь стараться каким-либо иным способом преследовать его. Не уплатив ему предварительно за каждый раз по сто денариев наличными деньгами, ты не должна принуждать мальчика против его воли ни к объятиям, ни к поцелуям, ни к союзу Венеры. Так же точно и ты, Лих, согласно твоему добровольному решению, не должен больше преследовать Энколпия оскорбительными словами или суровым видом; не должен спрашивать у него, с кем он проводит свои ночи; а если будешь требовать в этом отчета – обязуешься

за каждое подобное оскорбление уплачивать ему наличными деньгами по двести денариев».

Когда договор в таких словах был заключен, мы сложили оружие; а чтобы после обоюдной клятвы в душах у нас не осталось даже признака старой злобы, словом, чтобы совершенно покончить с прошлым, мы решили обменяться поцелуями. Таким образом раздор наш, по всеобщему желанию, прекратился, и трапеза, принесенная на самое поле сражения, при веселом настроении всех собутыльников послужила к вящему примирению. Весь корабль огласился песнями, а так как вследствие внезапно наступившего безветрия судно прекратило свой бег, одни стали бить рыбу трезубцами в тот миг, когда она выскакивала из воды, другие вытаскивали сопротивляющуюся добычу крючками с приманкой. А один ловкач принялся, с помощью специально сплетенных для этого из тростника приспособлений, охотиться на морских птиц, которые начали уже садиться на рею. Прилипая к обмазанным клеем прутьям, они сами давались в руки; и заиграл ветерок летучими пушинками; и начали плавать по морю их перья, крутясь вместе с легкою пеной. Уже у меня с Лихом опять налаживалась дружба, уже Трифена успела плеснуть в лицо Гитону из своего кубка остатками вина, когда Эвмолп, тоже сильно захмелевший, захотел вдруг поострить над плешивыми и клейменными. Исчерпав все пошлые остроты на эту тему, он наконец принялся за стихи и продекламировал нам небольшую элегию о волосах:

Кудри упали, – увь! – хоть в них вся прелесть красавцев.
Юный, весенний убор злобно скосила зима,
Ныне горюют виски, лишённые сладостной тени.
Отмолотили хлеба; солнцем гумно сожжено.
Сколь переменчива воля богов! Ибо первую радость,
В юности данную нам, первой обратно берет.

Бедный! Только что ты сиял кудрями,
Был прекраснее Феба и Дианы.
А теперь твое темя глаже меди
И круглее, чем гриб, дождем рожденный.
Робко прочь ты бежишь от дев-насмешниц.
И, коль ты позабыл о близкой смерти,
Знай, что часть головы уже погибла.

110. Эвмолп, кажется, собирался декламировать еще дольше и еще более нескладно, чем раньше, но как раз в это время одна из служанок Трифены увела с собой Гитона в нижнюю каюту и надела ему на голову парик своей госпожи. Затем выгащила из баночки накладные брови и, искусно подражая форме утеранных, вернула таким образом мальчику всю его красоту. Теперь только Трифена признала в нем настоящего Гитона; от волнения она даже расплакалась и в первый раз поцеловала его от всего сердца.

Я тоже был рад, что мальчику возвратили прежнюю привлекательность; зато собственное лицо стал прикрывать еще тщательнее: ведь я знал, что отличаюсь теперь необыкновен-

ным безобразием, – если даже Лих не удостаивает меня разговором. Но та же самая служанка мне помогла в этой горе: она отозвала меня в сторону и снабдила не менее прекрасной шевелюрой. Лицо мое даже изменилось к лучшему, потому что парик был белокурый.

* * *

А Эвмолп, этот наш всегдашний защитник среди опасностей и создатель теперешнего общего согласия, из боязни, как бы не увяло без прибауток наше веселое настроение, принялся всю болтать о женском легкомыслии. Говорил, как легко женщины влюбляются, как скоро забывают даже своих сыновей; говорил, что нет на свете женщины настолько скромной, чтобы новая страсть не в состоянии была довести ее до исступления; и нет нужды в примерах из старинных трагедий или в известных из истории именах, но если мы захотим его слушать, он может рассказать нам об одном случае, который был на его памяти. И, видя, что все повернулись к нему лицами и приготовились слушать, Эвмолп начал таким образом:

111. – В Эфесе жила некая матрона, отличавшаяся столь великой скромностью, что даже из соседних стран женщины приезжали посмотреть на нее. Когда же умер ее муж, она, не удовольствовавшись общепринятым обычаем провожать покойника с распущенными волосами или бия себя на виду

у всех в обнаженную грудь, последовала за умершим мужем даже в могилу и, когда тело, по греческому обычаю, положили в подземелье, осталась охранять его там, в слезах проводя дни и ночи. Пребывая в столь сильном горе, она решила умерить себя голодом, и ни родные, ни близкие не в состоянии были отклонить ее от этого решения. Напоследок даже городские власти удалились, ничего не добившись. Все плакали, глядя на этот неповторимый пример супружеской верности, – на эту женщину, уже пятые сутки проводившую без пищи. Печально сидела с ней ее верная служанка. Заливаясь слезами, она делила горе своей госпожи и по временам заправляла светильник, поставленный на могильную плиту, как только замечала, что он начинает гаснуть. В городе только и разговоров было что про вдову. Люди всех званий сходились в том, что впервые пришлось им увидеть блестящий пример истинной любви и верности.

Между тем как раз в это время правитель той области приказал неподалеку от подземелья, в котором вдова плакала над свежим трупом, распять нескольких разбойников, а чтобы кто-нибудь не похитил разбойничьих тел, желая предать их погребению, возле крестов поставили на стражу солдата. С наступлением ночи солдат заметил среди надгробных памятников довольно яркий свет, услышал стоны несчастной вдовы и, по любопытству, свойственному всему роду человеческому, захотел узнать, кто это и что там делается. Немедленно спустился он в склеп и, увидев там женщину замеча-

тельной красоты, сначала оцепенел от испуга, словно перед призраком или загробною тенью. Затем, увидев наконец лежащее перед ним мертвое тело и заметив слезы и лицо, исцарапанное ногтями, он, конечно, понял, что это только женщина, которая после смерти мужа не может прийти в себя от горя. Тогда он принес в склеп свой скромный обед и принялся убеждать плачущую, чтобы она перестала понапрасну убиваться и не терзала груди своей бесполезными рыданиями: всех, мол, ожидает один конец, всем уготовано одно и то же жилище. Говорил он и многое другое, чем обыкновенно стараются утешать людей, чья душа изъязвлена горем. Но она от этих утешений стала еще сильнее царапать свою грудь и, вырывая из головы волосы, принялась осыпать ими покойника. Солдата это, однако, не обескуражило, и он не менее настойчиво стал уговаривать бедную вдовушку немножко поесть. Наконец служанка, соблазнившись винным запахом, почувствовала, что не в силах больше противиться учтивому приглашению солдата, и сама первая протянула руку, побежденная. А потом, подкрепив пищей и вином свои силы, она тоже начала бороться с упорством своей госпожи.

– Что пользы в том, – говорила служанка, – если ты умрешь голодной смертью? Если заживо похоронишь себя? Если самовольно испустишь неосужденный дух, прежде чем того потребует судьба?

Мнишь ли, что слышат тебя усопших тени и пепел?

Не лучше ли, если ты вернешься к жизни? Не лучше ли отказаться от своего женского заблуждения и, пока можно, наслаждаться благами жизни? Самый вид этого недвижимого тела уже должен убедить тебя остаться в живых.

Всякий охотно слушает, когда его уговаривают есть или жить. Потому вдова наша, которая, благодаря столь продолжительному воздержанию от пищи, уже сильно ослабела, позволила наконец сломить свое упорство и принялась за еду с такой же жадностью, как и служанка, сдавшаяся первою.

112. Вы, конечно, знаете, на что нас обычно соблазняет сытость. Солдат теми же ласковыми словами, которыми убедил матрону остаться в живых, принялся атаковать и ее стыдливость. К тому же он казался этой целомудренной женщине человеком вовсе не безобразным и даже не лишенным дара слова. Да и служанка старалась расположить свою госпожу в его пользу и то и дело повторяла:

Как? Неужели любовь ты отвергнешь, любезную сердцу?
Или не ведаешь ты, чьи поля у тебя пред глазами?

Но что там много толковать? У женщины и эта часть тела не вынесла воздержания: победоносный воин снова ее убедил. Они провели в объятиях не только эту ночь, в которую справили свою свадьбу, но то же самое было и на следующий,

и даже на третий день. А двери в подземелье, на случай, если бы к могиле пришел кто-нибудь из родственников или знакомых, разумеется, заперли, чтобы казалось, будто эта целомудреннейшая из жен умерла над телом своего мужа. Солдат же, восхищенный и красотой возлюбленной, и таинственностью приключения, покупал, насколько позволяли его средства, всякие лакомства и, как только смеркалось, немедленно относил их в подземелье. А в это время родственники одного из распятых, видя, что за ними нет почти никакого надзора, сняли ночью с креста его тело и предали погребению. Воин, который всю ночь провел в подземелье, только на следующий день заметил, что на одном из крестов недостает тела. Трепеща от страха перед наказанием, рассказал он вдове о случившемся, говоря, что не станет дожидаться приговора суда, а собственным мечом накажет себя за нерадение, и просил, чтобы она оставила его, когда он умрет, в этом подземелье и положила в одну и ту же роковую могилу возлюбленного и мужа. Она же, не менее сострадательная, чем целомудренная, отвечала:

– Неужели боги допустят до того, что мне придется почти одновременно увидеть смерть двух самых дорогих для меня людей? Нет! Я предпочитаю повесить мертвого, чем погубить живого.

Сказано – сделано: матрона велит вытащить мужа из гроба и пригвоздить его к пустому кресту. Солдат немедленно воспользовался блестящей мыслью рассудительной женщи-

ны. А на следующий день все прохожие недоумевали, каким образом мертвый взобрался на крест.

113. Громким хохотом встретили моряки этот рассказ, а Трифена любовно склонилась своим сильно зарумянившимся лицом на плечо Гитона. Один Лих не смеялся. Сердито покачав головой, он сказал:

– Если бы правитель был человеком справедливым, он непременно приказал бы тело мужа положить обратно в могилу, а жену его распять.

Без сомнения, ему вспомнилась Гедила и разграбление корабля во время нашего своевольного переселения. Но слова договора не позволяли ему напоминать об этом; да и охватившее всех веселье не давало возможности затеять новую ссору. Трифена в это время сидела на коленях у Гитона и то осыпала его грудь поцелуями, то принималась поправлять его фальшивые волосы. Я печально сидел на своем месте, мучился невыносимо этим новым сближением, ничего не ел, ничего не пил и только искоса сердито поглядывал на обоих. Все поцелуи, все ласки, измышляемые похотливой женщиной, терзали мое сердце. И, однако, я до сих пор все-таки не знал, на кого я больше сержусь: на мальчика – за то, что он отбивает у меня подружку, или на подружку – за то, что она развращает моего мальчика. А в общем, и то и другое было мне чрезвычайно противно и даже более тягостно, чем недавний плен. И вдобавок еще ни Трифена не заговорила со мной, словно я не был ей человеком близким и некогда

желанным любовником, ни Гитон не удостоивал меня чести хотя бы мимоходом выпить за мое здоровье или, по крайней мере, вовлечь меня в общий разговор. Мне кажется, он просто боялся, как бы в самом же начале наступившего согласия опять не растравить рану в сердце Трифены. От огорчения грудь моя переполнилась наконец слезами; глубокими вздохами старался я подавить в себе рыдания, которые как бы выворачивали мою душу...

* * *

[Лих] добивался, чтобы и ему досталась доля наших удовольствий, и, забыв хозяйскую спесь, лишь просил дружеской благосклонности...

* * *

— Если в тебе течет хоть капля благородной крови, то она должна быть для тебя не лучше любой девки; если ты в самом деле мужчина, ты не пойдешь к этой шлюхе...

* * *

Досаднее всего было то, что о случившемся узнает величайший насмешник Эвмолп и примется мстить за вообража-

емую обиду своими стихами...

* * *

Эвмолп в самых торжественных словах поклялся...

* * *

114. Пока мы рассуждали об этом и о тому подобных вещах, на море поднялось большое волнение, небо обложило со всех сторон тучами, и день потемнел. Матросы в страхе бросились по своим местам и в ожидании бури убрали паруса. Но ветер гнал волны то в одну, то в другую сторону, и кормчий совершенно не знал, какого ему курса держаться. То ветер гнал нас по направлению к Сицилии, то поднимался аквилон, хозяин италийского берега, и во все стороны швырял наше покорное судно. Но что было опаснее всяких бурь, так это нависшая внезапно над нами тьма, до того непроглядная, что кормчий не мог рассмотреть как следует даже корабельного носа.

И вот, о Геркулес! Когда буря разыгралась вовсю, Лих обратился ко мне, трепеща от страха, и, протягивая с мольбой руки, воскликнул:

– Энколпий, помоги нам в опасности, возврати судно сistr и священное одеяние. Заклинаю тебя, сжался над на-

ми, прояви присущее тебе милосердие!

Он все еще вопил, когда внезапно налетел сильный шквал и сбросил его в море. Буря завертела его в своей неумолимой пучине и, выбросив еще раз на поверхность, наконец поглотила. Тут самые преданные из слуг Трифены поспешно схватили свою госпожу и, посадив ее вместе с большею частью поклажи в лодку, спасли от верной смерти...

* * *

Я, прижавшись [к Гитону], громко плакал и говорил ему: – Мы заслужили от богов, чтобы только смерть соединила нас. Но безжалостная судьба отказала нам даже в этом. Смотри – волны начинают уже опрокидывать наше судно. Смотри! Уже скоро гневное море вырвет любящих друг у друга из объятий. Итак, если ты на самом деле любил Энкалпия, то подари его поцелуем, пока еще можно. Вырви из рук немедляющей судьбины эту последнюю радость.

Лишь только я это сказал, Гитон разделся и, прикрывшись моей туникой, подставил мне лицо для поцелуев, а чтобы слишком яростная волна не разлучила прильнувших друг к другу, он одним поясом связал обоих, говоря:

– Так, по крайней мере, подольше нас, связанных вместе, будет носить море. А может быть, оно сжалится и выбросит нас вместе на берег, и какой-нибудь прохожий из простого человеколюбия набросает на тела наши камней, или же в

крайнем случае яростные волны замоют их незаметно песком.

Я даю связать себя последними узами и, лежа, как на смертном одре, ожидаю кончины, которая уже не страшит меня. Буря между тем заканчивала то, что ей было предписано роком, и бросилась уничтожать все остатки нашего корабля. На нем не было теперь ни мачт, ни руля, ни снастей, ни весел. Подобно необтесанному обрубку, носился он по воле волн...

* * *

Появились рыбаки, приплывшие на своих маленьких лодках в надежде награть добычи. Но, заметив на палубе людей, готовых защищать свое имущество, забыли о жестокости и оказали помощь...

* * *

115. Мы услышали странные звуки, которые раздавались из-под каюты кормчего: точно дикий зверь рычал, желая вырваться на свободу. Пойдя на звук, мы наткнулись на Эвмолпа: он сидел и на огромном пергаменте выписывал какие-то стихи. Пораженные тем, что Эвмолп даже на краю гибели не бросает своих поэм, мы, несмотря на его крики, выволокли

его наружу и велели образумиться. А он, рассердившись, что ему помешали, кричал:

– Дайте же мне закончить фразу: поэма уже идет к концу.

Тут я ухватил одержимого и велел Гитону помочь мне отвезти воющего поэта на землю...

* * *

И вот, когда это было устроено, мы добрались наконец, печальные, до рыбацкой хижины и, кое-как подкрепившись испорченной во время кораблекрушения снедью, провели там невеселую ночь.

На следующий день, когда мы держали совет, в какую нам сторону направиться, я вдруг заметил, что легкая зыбь крутит и прибывает к нашему берегу человеческое тело. С печалью в сердце стоял я и увлажненным взором созерцал вероломство моря.

– Может быть, – воскликнул я, – в какой-нибудь части света ждет его спокойная супруга, или сын, не знающий о буре, или отец, которого он оставил и, отправляясь в дорогу, поцеловал. Вот они, человеческие расчеты! Вот они, наши честолюбивые помыслы! Вот он, человек, которого волны носят теперь по своему произволу!

До сих пор я оплакивал его, как незнакомого. Но когда волна повернула утопленника, чье лицо несколько не изменилось, я увидел Лиха; этот не так давно грозный и неумо-

лимый человек теперь лежал чуть ли не у моих ног. Я не мог больше удерживать слезы и, вновь и вновь ударяя себя в грудь, повторял:

– Где же теперь твоя ярость? Куда девалась вся твоя необузданность? Твое тело отдано на растерзание рыбам и морским чудовищам. Недавно ты хвастал своим могуществом, и вот после кораблекрушения от твоего громадного корабля и доски не осталось. Наполняйте же, смертные, наполняйте сердца ваши гордыми помыслами. Будьте, будьте предусмотрительны – распределяйте ваши богатства, приобретенные обманом и хитростью, на тысячу лет. Ведь и этот вчера еще придирчиво проверял счета своего имущества; ведь и он в мечтах назначил день, когда достигнет берегов своей родины. О, боги и богини! Как далеко лежит он теперь от цели! Но не одно только море так вероломно к людям. Одному в сражении изменяет оружие. Другого погребают под собой развалины дома в тот миг, когда он дает обеты богам. Иному приходится испустить непоседливый дух, вылетев из повозки. Обжору душит пища, умеренного – воздержание. Словом, если поразмыслить, то крушения ждут нас повсюду. Правда, поглощенный волнами не может рассчитывать на погребение. Но какая разница, чем истреблено будет тело, обреченное на гибель, – огнем, водой или временем? Что там ни делай, все на одно выйдет. Пусть даже могут растерзать тело дикие звери... Но разве лучше, если пожрет его пламя? Напротив, когда мы гневаемся на рабов, то наказа-

ние огнем считаем самым тяжелым. Так не безумие ли заботиться о том, чтобы малейшая частица нашего тела не оставалась без погребения?

* * *

Тело Лиха сгорело на костре, сложенном руками его врагов. Эвмолп же, сочиняя надгробную надпись, устремил вдаль взоры, призывая к себе вдохновение...

* * *

116. Охотно окончив это дело, мы пустились по избранной нами дороге и немного спустя, покрытые потом, уже взбирались на гору; с нее открывался вид на какой-то город, расположенный совсем недалеко от нас на высоком холме. Блуждая по незнакомой местности, мы не знали, что это такое, пока наконец какой-то хуторянин не сообщил нам, что это Кротона, город древний, когда-то первый в Италии... Затем, когда мы более подробно принялись расспрашивать его, что за люди населяют это знаменитое место и какого рода делами предпочитают они заниматься, после того как частые войны свели на нет их богатство, он так нам ответил:

– О чужестранцы, если вы – купцы, то советую вам отказаться от ваших намерений; постарайтесь лучше отыскать

какие-нибудь другие средства к существованию. Если же вы люди более тонкие и способны все время лгать, тогда вы на верном пути к богатству. Ибо науки в этом городе не в почете, красноречию в нем нет места, а воздержанием и чистотой нравов здесь не стяжаешь ни похвал, ни наград. Знайте, что все люди, которых вы увидите в этом городе, делятся на две категории: уловляемых и уловляющих. В Кротоне никто не заводит своих детей, потому что любого, кто имеет законных наследников, не допускают ни на торжественные обеды, ни на общественные зрелища; лишенный всех этих удовольствий, он принужден жить незаметно среди всякого сброда. А вот люди, никогда не имевшие ни жен, ни близких родственников, достигают самых высоких почестей; другими словами – только их и признают за людей, наделенных военной доблестью, великим мужеством и примерной честностью. Вы увидите, – сказал он, – город, напоминающий собой пораженную чумою равнину, на которой нет ничего, кроме терзаемых трупов да терзающих воронов...

117. Эвмолп, как человек более предусмотрительный, принялся обдумывать этот совершенно новый для нас род занятий и заявил наконец, что он ровно ничего не имеет против такого способа обогащения. Я думал сначала, что старец наш просто шутит, по своему поэтическому легкомыслию, но он с самым серьезным видом добавил:

– О, сумей я обставить эту комедию попышнее, будь платье поприличнее и вся утварь поизящнее, чтобы всякий по-

верил моей лжи, – поистине, я не стал бы откладывать это дело, а сразу повел бы вас к большому богатству.

Я обещал Эвмолпу доставить все, что ему нужно, если только устраивает его платье, сопутствовавшее нам во всех грабежах, и разные другие предметы, которые дала нам оборанная вилла Ликурга. А что касается денег на текущие расходы, то Матерь богов по вере нашей пошлет нам их...

* * *

– В таком случае зачем откладывать нашу комедию в долгий ящик? – воскликнул Эвмолп. – Если вы действительно ничего не имеете против подобной плутни, то признайте меня своим господином.

Никто из нас не осмелился осудить эту проделку, тем более что в ней мы ничего не теряли. А для того чтобы замышляемый обман остался между нами, мы, повторяя за Эвмолпом слова обета, торжественно поклялись терпеть и огонь, и оковы, и побои, и насильственную смерть, и все, что бы ни приказал нам Эвмолп, – словом, как форменные гладиаторы, предоставили и души свои, и тела в полное распоряжение хозяина. Покончив с клятвой, мы, нарядившись рабами, склонились перед повелителем. Затем сговорились, что Эвмолп будет отцом, у которого умер сын, юноша, отличавшийся красноречием и подававший большие надежды. А чтобы не иметь больше перед глазами ни клиентов своего умершего

сына, ни товарищей его, ни могилы, вид которых вызывал у него каждый день горькие слезы, – несчастный старик решил уехать из своего родного города. Горе его усугублено только что пережитым кораблекрушением, из-за которого он потерял более двух миллионов сестерциев. Но не потеря денег волнует его, а то, что, лишившись также и всех своих слуг, он не в состоянии теперь появиться ни перед кем с подобающим его достоинству блеском. Между тем в Африке у него до сих пор на тридцать миллионов сестерциев земель и денег, отданных под проценты. Кроме того, по нумидийским землям у него разбросано повсюду такое множество рабов, что с ними свободно можно было бы овладеть хотя бы Карфагеном.

Согласно этому плану мы посоветовали Эвмолпу, во-первых, кашлять как можно больше, затем притвориться, точно он страдает желудком, а поэтому при людях отказываться от всякой еды и, наконец, говорить только о золоте и серебре, о своих вымышленных имениях и о постоянных неурожаях. Кроме того, он обязан был изо дня в день корпеть над счетами и чуть не ежечасно переделывать завещание. А для полноты картины он должен путать имена всякий раз, когда ему придется позвать к себе кого-нибудь из нас, – чтобы всем бросалось в глаза, будто он все еще вспоминает отсутствующих слуг.

Распределив таким образом роли, мы помолились богам, чтобы все хорошо и удачно кончилось, и отправились даль-

ше. Но и Гитон не мог долго выносить непривычного груза, и наемный слуга, Коракс, позор своего звания, тоже частенько ставил поклажу на землю, ругал нас за то, что мы так спешим, и грозил или бросить где-нибудь свою ношу, или убежать вместе с нею.

– Что вы, – говорит, – считаете меня за вьючное животное, что ли, или за грузовое судно? Я подрядился нести человеческую службу, а не лошадиную. Я такой же свободный, как и вы, хоть отец и оставил меня бедняком.

Не довольствуясь бранью, он то и дело поднимал кверху ногу и оглашал дорогу непристойными звуками и обдавал всех отвратительной вонью. Гитон смеялся над его строптивостью и всякий раз голосом передразнивал эти звуки...

* * *

118. – Очень многих, юноши, – начал Эвмолп, – стихи вводят в заблуждение: удалось человеку втиснуть несколько слов в стопы или вложить в период сколько-нибудь тонкий смысл – он уж и воображает, что взобрался на Геликон. Так, например, после долгих занятий общественными делами люди нередко, в поисках тихой пристани, обращаются к спокойному занятию поэзией, думая, что сочинить поэму легче, чем контрверсию, уснащенную блестящими изречениями. Но человек благородного ума не терпит пустословия, и дух его не может ни зачать, ни породить ничего, если его

не оросит живительная влага знаний. Необходимо тщательно избегать всех выражений, так сказать, подлых и выбирать слова, далекие от плебейского языка, согласно слову поэта:

Невежд гнушаюсь и ненавижу чернь...

Затем нужно стремиться к тому, чтобы содержание не торчало, не уместившись в избранной форме, а, наоборот, совершенно с ней слившись, блистало единством красоты. Об этом свидетельствует Гомер, лирики, римлянин Вергилий и удивительно удачный выбор выражений у Горация. А другие или совсем не увидели пути, который ведет к поэзии, или не отважились вступить на него. Вот, например, описание гражданской войны: кто бы ни взялся за этот сюжет без достаточных литературных познаний, всякий будет подавлен трудностями. Ведь дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить события, – это историки делают куда лучше; нет, свободный дух должен устремляться в потоке сказочных вымыслов обходным путем, через рассказы о помощи богов, через муки поисков нужных выражений, чтобы песнь казалась скорее вдохновенным пророчеством исступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями...

119.

Римлянин царь-победитель владел без раздела
вселенной;

Морем, и сушей, и всем, что двое светил освещают.
Но ненасытен он был. Суда, нагруженные войском,
Рыщут по морю, и, если найдется далекая гавань
Или иная земля, хранящая желтое золото,
Значит, враждебен ей Рим. Среди смертоносных
сражений

Ищут богатства. Никто удовольствий избитых не любит,
Благ, что затасканы всеми давно в обиходе плебейском.
Так восхваляет солдат корабельный эфирскую бронзу;
Краски из глубей земных в изяществе с пурпуром спорят.
С юга шелка нумидийцы нам шлют, а с востока сирийцы.
Опустошает для нас арабский народ свои нивы.

Вот и другие невзгоды, плоды нарушения мира!
Тварей лесных покупают за золото и в землях Аммона,
В Африке дальней спешат ловить острозубых чудовищ,
Ценных для цирка убийц. Чужестранец голодный, на
судне

Едет к нам тигр и шагает по клетке своей золоченой,
Завтра при кликах толпы он кровью людскую упьется.
Горе мне! Стыдно вещать про позор обреченного града!
Вот, по обычаю персов, еще незрелых годами
Мальчиков режут ножом и тело насильно меняют
Для сладострастных забав, чтоб назло годам торопливым
Истинный возраст их скрыть искусственной этой
задержкой.

Ищет природа себя, но не в силах найти, и эфебы
Нравятся всем изощренной походкою, мягкостью тела,
Нравятся кудри до плеч и одежд небывалые виды, –
Все, чем прельщают мужчин. Привезенный из Африки

ставят

Крапчатый стол из лимонного дерева (злата дороже
Та древесина); рабы уберут его пурпуром пышным,
Чтобы он взор восхищал. Вкруг этих заморских диковин,
Всеми напрасно ценимых, собираются пьяные толпы.
Жаден бродяга-солдат, развращенный войной,
ненасытен:

Выдумки – радость обжор; и клювыш из волны
сицилийской

Прямо живьем подается к столу; уловляют в Лукрине
И продают для пиров особого вида ракушки,
Чтоб возбуждать аппетит утомленный. На Фасисе, верно,
Больше уж птиц не осталось: одни на немом побережье
Средь опустевшей листвы ветерки свою песнь распевают.
То же безумство на Марсовом поле; подкуплены златом,
Граждане там голоса подают ради мзды и наживы.
Стал продажен народ, и отцов продажно собрание!
Любит за деньги толпа; исчезла свободная доблесть
Предков; вместе с казной разоренный лишается власти.
Рухнуло даже величье само, изъедено златом.
Плебсом отвергнут Катон побежденный; но более жалок
Тот, кто, к стыду своему, лишил его дикторских связок.
Ибо – и в этом позор для народа и смерть благодравья! –
Не человек удален, а померкло владычество Рима,
Честь сокрушилась его. И Рим, безнадежно погибший,
Сделался сам для себя никем не отмщенной добычей.
Рост баснословный процентов и множество медной
монеты –

Эти два омута бедный народ, завертев, поглотили.

Кто господин в своем доме? Заложено самое тело!
Так вот сухотка, неслышно в глубинах тела возникнув,
Яростно члены терзает и выть заставляет от боли.
В войско идут бедняки и, достаток на роскошь растратив,
Ищут богатства в крови. Для нищего наглость – спасенье.
Рим, погрузившийся в грязь и в немом отупенье
лежащий,
Может ли что тебя пробудить (если здраво размыслить),
Кроме свирепой войны и страстей, возбужденных
оружьем?

120.

Трех послала вождей Фортуна, – и всех их жестоко
Злая, как смерть, Энио погребла под грудой оружия.
Красс у парфян погребен, на почве Ливийской –
Великий,
Юлий же кровию Рим обагрил, благодарности чуждый.
Точно не в силах нести все три усыпальницы сразу,
Их разделила земля. Воздаст же им почести слава.
Место есть, где средь скал зияет глубокая пропасть
В Парфенопейской земле по пути к Дикархиде великой,
Воды Коцита шумят в глубине, и дыхание ада
Рвется наружу из недр, пропитано жаром смертельным.
Осенью там не родятся плоды; даже травы не всходят
Там на тучном лугу; никогда огласиться не может
Мягкий кустарник весеннею песней, нестройной и
звучной,
Мрачный там хаос царит, и торчат ноздреватые скалы,

И кипарисы толпой погребальной их окружают.
В этих пустынных местах Плутон свою голову поднял
(Пламя пылает на ней и лежит слой пепла седого).
С речью такую отец обратился к Фортуне крылатой:
«Ты, чьей власти дела вручены бессмертных и смертных,
Ты не миришься никак ни с одной устойчивой властью,
Новое мило тебе и постыло то, что имеешь;
Разве себя признаёшь ты сраженной величием Рима?
Ты ли не в силах столкнуть обреченной на гибель
громады?
В Риме давно молодежь ненавидит могущество Рима,
Груз добытых богатств ей в тягость. Видишь сама ты
Пышность добычи и роскошь, ведущую к гибели верной.
Строят из золота дома и до звезд воздвигают строения,
Камень воды теснит, а море приходит на нивы, –
Все затевают мятеж и порядок природы меняют.
Даже ко мне они в царство стучатся, и почва зияет,
Взрыта орудьями этих безумцев, и стонут пещеры
В опустошенных горах, и прихотям служат камни,
А сквозь отверстия на свет ускользнуть надеются души.
Вот почему, о Судьба, нахмурь свои мирные брови,
Рим к войне побуди, мой удел мертвецами наполни.
Да, уж давненько я рта своего не омачивал кровью,
И Тисифона моя не омыла несытого тела,
С той поры, как поил клинок свой безжалостный Сулла
И взрастила земля орошенные кровью колосья».

Вымолвив эти слова и стремясь десницу с десницей
Соединить, он разверз огромной расщелиной землю.
Тут беспечная так ему отвечала Фортуна:
«О мой родитель, кому подчиняются недра Коцита!
Если истину мне предсказать безнаказанно можно,
Сбудется воля твоя, затем что не меньшая ярость
В сердце кипит и в крови не меньшее пламя пылает.
Как я раскаялась в том, что радела о римских твердынях!
Как я дары ненавижу свои! Пусть им стены разрушит
То божество, что построило их. Я всем сердцем желаю
В пепел мужей обратить и кровью душу насытить,
Вижу, как дважды тела под Филиппами поле устлали,
Вижу могилы иберов и пламя костров фессалийских,
Внемлет испуганный слух зловещему лязгу железа.
В Ливии – чудится мне – стенают, о Нил, твои веси
В чаянье битвы актийской, в боязни мечей Аполлона.
Так отвори же скорей свое ненасытное царство,
Новые души готовься принять. Перевозчик едва ли
Призраки павших мужей на челне переправить сумеет:
Нужен тут флот. А ты пожирай убитых без счета,
О Тисифона, и глад утоляй кровавою пищей;
Целый изрубленный мир спускается к духам
Стигийским».

122.

Еле успела сказать, как, пробита молнией яркой,
Вздрогнула туча – и вновь пресекла прорвавшийся
пламень.

В страхе присел повелитель теней и заставил сомкнуться
Недра земли, трепеща от раскатов могучего брата.
Вмиг избиенье мужей и разгром грядущий раскрылись
В знаменьях вышних богов. Титана лик искаженный
Сделался алым, как кровь, и подернулся мглою туманной,
Словно дымились уже сраженья гражданские кровью.
В небе с другой стороны свой полный лик погасила
Кинфия, ибо она освещать не посмела злодейства.
С грохотом рушились вниз вершины гор и потоки,
Русла покинув свои, меж новых берегов умирали.
Звон мечей потрясает эфир, и военные трубы
В небе Марса зовут. И Этна, вскипев, изрыгнула
Пламень, досель небывалый, взметая искры до неба.
Вот среди свежих могил и тел, не почтенных сожженьем,
Призраки ликом ужасным и скрежетом злобным пугают,
В свите невиданных звезд комета сеет пожары,
Сходит Юпитер могучий кровавым дождем на равнины,
Знаменья эти спешит оправдать божество, и немедля
Цезарь, забыв колебанья и движимый жаждою мести,
Галльскую бросил войну и войну гражданскую начал.
В Альпах есть место одно, где скалы становятся ниже
И открывают проход, раздвинуты греческим богом.
Там алтари Геркулеса стоят и горы седые,
Скованы вечной зимой, до звезд вздымают вершины.
Можно подумать, что нет над ними небес: не смягчают
Стужи ни солнца лучи, ни теплые вешние ветры.
Все там сдавлено льдом и покрыто инеем зимним.
Может вершина весь мир удержать на плечах своих
грозных.

Цезарь могучий, тот кряж попирая с веселою ратью,
Это место избрал и стал на скале высочайшей,
Взглядом широким кругом Гесперийское поле окинул.
Обе руки простирая к небесным светилам, воскликнул:
«О всемогущий Юпитер и вы, Сатурновы земли,
Что ликовали со мной победам моим и триумфам,
Вы мне свидетели в том, что Марса зову против воли
И против воли поднимаю я меч, лишь обидою движим:
В час, когда кровью врагов обагрю я рейнские воды,
В час, когда галлам, что вновь стремились взять
Капитолий,
К Альпам я путь преградил, меня изгоняют из Рима.
Кровь германцев-врагов, шестьдесят достославных
сражений –
Вот преступленья мои! Но кого же страшит моя слава?
Кто это бредит войной? Бесстыдно подкупленный
златом,
Сброд недостойных наймитов и пасынков нашего Рима!
Кара их ждет! И руки, что я занес уж для мщенья,
Труссы не смогут связать! Так в путь, победные рати!
В путь, мои спутники верные! Тяжбу решите железом,
Всех нас одно преступленье зовет, и одно наказанье
Нам угрожает. Но нет! Должны получить вы награду!
Я не один побеждал. Но если за наши триумфы
Пыткой хотят нам воздать и за наши победы – позором,
Пусть наш жребий решит Судьба. Пусть усобица
вспыхнет!
Силы пора испытать! Уже решена наша участь:
В сонме таких храбрецов могу ли я быть побежденным?»

Только лишь вымолвил он, как Дельфийская птица явила
Знаменье близких побед, разрезая воздух крылами.
Тут же послышался слева из чащи ужасного леса
Гул голосов необычных, и сразу блеснула зарница.
Тут и Феба лучи веселей, чем всегда, засверкали,
Вырос солнечный круг, золотым овит ореолом.

123.

Знаменьем сим ободрён, Маворсовы двинул знамена
Цезарь и смело вступил на путь, для него непривычный.
Первое время и лед и земля, от мороза седого
Твердая, им не мешали идти, от ужаса немы.
Но когда через льды переправились храбрые турмы
И под ногами коней затрещали оковы потоков,
Тут растопились снега, и, зачатые в скалах высоких,
Ринулись в доли ручьи. Но, как бы покорны приказу,
Вдруг задержались, прервав свой бег разрушительный,
воды.
То, что недавно текло, уж надо рубить топорами.
Тут-то обманчивый лед изменяет впервые идущим,
Почва скользит из-под ног. Вперемежку и кони, и люди,
Копья, мечи и щиты – все свалено в жалкую кучу.
Кроме того, облака, потрясенные ветром холодным,
Груз свой на землю льют, и вихри холодные дуют,
А из разверстых небес низвергается град изобильный,
Кажется, тучи с высот спустились на бедные рати,
И точно море на них замерзшие волны катило.
Скрыта под снегом земля, и скрыты за снегом светила,

Скрыты рек берега и меж них застывшие воды.
Но не повержен был Цезарь: на дрот боевой опираясь,
Шагом уверенным он рассекал эти страшные нивы.
Так же безудержно мчал с отвесной твердыни Кавказа
Пасынок Амфитриона; Юпитер с разгневанным ликом
Так же когда-то сходил с высоких вершин Олимпийских,
Чтоб осилить напор осужденных на гибель гигантов.
Но, пока Цезарь во гневе смиряет надменные Альпы,
Мчится Молва впереди и крылами испуганно машет.
Вот уж взлетела она на возвышенный верх Палатина
И, словно громом, сердца поразила римлянам вестью:
В море-де вышли суда, и всюду по склонам альпийским
Сходят лавиной войска, обогранные кровью германцев.
Раны, убийства, бои, пожары и всяческий ужас
Сразу пред взором встают, и сердце бьется в смятенье.
Ум, пополам разрываясь, не знает, за что ухватиться.
Эти сушей бегут, а те доверяются морю.
Понт безопасней отчизны. Но есть среди граждан такие,
Что, покоряясь Судьбе, спасения ищут в оружье.
Тот, кто боится сильней, тот дальше бежит.
Но всех раньше
Жалкая с виду чернь, средь этих усобиц и распрей,
Из опустевшего града уходит куда ни попало.
Бегством Рим упоен. Одной молвою квириты
Побеждены и бегут, покидая печальные кровли.
Этот дрожащей рукой детей за собою уводит,
Прячет тот на груди пенатов, в слезах покидая
Милый порог, и проклятьем врагов поражает заочно.
Третьи к сердцу, скорбя, возлюбленных жен прижимают,

На плечи старых отцов берет беззаботная юность.
То уносят с собой, за что опасаются больше.
Глупый увозит весь дом, врагу доставляя добычу.
Так же бывает, когда разбушуется ветер восточный,
В море взметая валы, – ни снасти тогда мореходам
Не помогают, ни руль. Один паруса подбирает,
Судно стремится другой направить в спокойную гавань,
Третий на всех парусах убегает, доверясь Фортуне...
Бросим же мелких людей! Вот консулы, с ними Великий,
Ужас морей, проложивший пути к побережьям Гидаспа,
Риф, о который разбились пираты, кому в троекратной
Славе дивился Юпитер, кто Понт сломил побежденный,
Тот, покорились кому раболепные волны Босфора, –
Стыд и позор! – он бежит, оставив величие власти.
Видит впервые Судьба легкокрылая спину Помпея.

124.

Эта чума наконец даже самых богов заражает:
Страх небожителей к бегству толкает. И вот отовсюду
Сонмы богов всеблагих, гнушаясь землей озверевшей,
Прочь убегают, лицо отвратив от людей обреченных.
Мир летит впереди, белоснежными машет руками,
Шлемом покрывши чело побежденное и покидая
Землю, пугливо бежит в беспощадные области Дита.
С ним же, потупившись, Верность уходит, затем
Справедливость,
Косы свои распустив, и Согласье в истерзанной палле.
В это же время оттуда, где царство Эреба разверзлось,

Вынырнул сонм ратоборцев Плутона: Эриния злая,
Грозная видом Беллона и с факелом страшным Мегера,
Козни, Убийство и Смерть с ужасною бледной личиной.
Ярость, узду разорвав, на свободу меж ними несется;
Голову гордо она подымет и лик, испещренный
Тысячей ран, прикрывает своим окровавленным
шлемом.

Щит боевой на левой руке висит, отягченный
Грузом вонзившихся стрел, а в правой руке она держит
Факел зловещий, по всей земле рассеивая пожары.
Тут ощутила земля могущество вышних. Светила
Тщетно хотят обрести равновесие вновь. Разделяет
Также всевышних вражда: во всем помогает Диона
Цезарю, милому ей, а с нею Паллада Афина
В верном союзе и Ромул, копьем потрясающий мощным.
Руку Великого держат с сестрою Феб, и Килленский
Отпрыск, и сходный в делах с Помпеем тиринфский
воитель.

Вот загрела труба, и Раздор, растрепав свои космы,
Поднял навстречу богам главу, достойную ада;
Кровь на устах запеклась, и плачут подбитые очи;
Зубы торчат изо рта, покрытые ржавчиной гнусной;
Яд течет с языка, извиваются змеи вокруг пасти
И на иссохшей груди, меж складками рваной одежды.
Правой дрожащей рукой он подымет кровавый
светильник.

Бог сей, страшный Коцит и сумрачный Тартар покинув,
Быстро шагая, взошел на хребет Апеннин достославных.
Мог обозреть он с вершин все земли, и все побережья.

И затопившие мир, словно волны, грозные рати.
Тут из свирепой груди такую он речь испускает:
«Смело возьмите мечи, о народы, душой распалившись,
Смело возьмите – и факел пожара несите по весям:
Кто укрывается, будет разбит. Поражайте и женщин,
И слабосильных детей, и годами согбенную старость.
Пусть содрогнется земля и с треском обрушатся кровли.
Так предлагай же законы, Марцелл! Подстрекай же
плебеев,
О Курион! Не удерживай, Лентул, могучего Марса!
Что же, божественный, ты, одетый доспехами, медлишь,
Не разбиваешь ворот, городских укреплений не рушишь,
Не похищаешь казны? Великий! Иль ты не умеешь
Рима твердыни хранить! Так беги же к стенам Эпидамна
И Фессалийский залив обагри человеческой кровью!»
Так и свершилось все на земле по приказу Раздора.

Когда Эвмолп весьма бойко прочел свою поэму, мы вступили в Кротону. Отдохнув и подкрепив свои силы в небольшой гостинице, мы на следующий же день отправились поискать жилище побогаче и как раз попали в толпу охотников за наследствами; немедля принялись они нас расспрашивать, что мы за люди и откуда прибыли. Мы же, согласно выработанному особому плану, с чрезмерной даже бойкостью рассказали, кто мы и откуда, а они поверили нам, ни в чем и не усомнившись, и все тотчас принялись сносить Эвмолпу свои богатства, соревнуясь друг с другом... Все охотники за наследством стали наперебой домогаться расположения Эв-

молпа подарками...

* * *

125. Уже довольно долго шли таким образом дела наши в Кротоне; и Эвмолп, упоенный удачей, до того забыл о прежнем своем положении, что начал хвастать перед своими присными, будто никто в этом городе не в силах больше устоять перед его влиянием и что, если бы они в чем-нибудь провинились, все равно это сошло бы им с рук с помощью его друзей. Хотя я, благодаря изобильному притоку всяческих благ, с каждым днем все больше отъедался и полнел и думал, что наконец-то Фортуна отвернулась и перестала меня осаждать, – однако частенько стал задумываться и над своим нынешним положением, и над его причиной.

«А что, – говорил я себе, – если тот мошенник, который похитрее, отправит в Африку разведчика и уличит нас во лжи? Что, если наемный слуга, пресытившись нынешним благоденствием, пойдет и донесет на своих друзей и своей гнусной изменой раскроет всю нашу проделку? Ведь снова придется удирать и снова впасть в только что побежденную бедность и нищенствовать. О боги и богини, как тяжело приходится живущим не по закону: они всегда ждут того, что заслужили...»

126. [Хрисиды, служанка Киркеи, Полиэну] – ...ты уверен в своей неотразимости и поэтому, загордившись, торгуешь объятиями, а не даришь их. Зачем эти тщательно расчесанные волосы? Зачем лицо покрыто румянами? К чему эта нежная игра глазами, эта искусственная походка и шаги, ровно размеренные? Разве не для того, чтобы выставить красоту свою на продажу? Взгляни на меня: по птицам я не гадаю, по звездам не читаю; но умею узнавать нрав по обличью, и лишь только увидела тебя на прогулке, так сразу поняла, каков ты. Так вот, если ты продаешь то, что нам требуется, так – ваш товар, наш купец; если же – что более достойно человека – ты делишься бескорыстно, то сделай и нам одолжение. А что касается твоих слов, будто ты раб и человек низкого происхождения, – так этим ты только разжигаешь желание жаждающей. Некоторым женщинам то и подавай, что погрязнее: сладострастие в них просыпается только при виде раба или вестового с подобранными полами. Других распяляет вид гладиатора, или покрытого пылью погонщика мулов, или, наконец, актера, выставяющего себя на сцене напоказ. Вот из такого же сорта женщин и моя госпожа: ближе чем на четырнадцать рядов к оркестру не подходит и только среди самых подонков черни отыскивает себе то, что ей по сердцу.

Тут я, захваченный этой ласковой речью, говорю ей:

– Да скажи, пожалуйста, уж не ты ли та самая, что в меня влюбилась?

Служанка рассмеялась над этой неудачной догадкой и ответила:

– Прошу не мнить о себе так высоко; до сих пор я никогда еще не отдавалась рабу; надеюсь, боги и впредь не допустят, чтобы я прибивала на крест свои ласки. Я предоставляю матронам целовать рубцы от плетей; я же хоть и рабыня, а никогда не сажу дальше всаднических мест.

Я не мог не подивиться такому несоответствию страстей и отнес к числу чудес то, что служанка метит высоко, словно матрона, а у матроны вкус низкий, как у служанки.

Мы довольно долго вели этот шуточный разговор; наконец я попросил рабыню привести свою госпожу в платановую рощу. Девиче этот совет понравился, и, подобрав повыше тунику, она свернула в лавровую рощицу, примыкавшую к аллее. Немного спустя она вновь показалась, ведя с собой из этого укромного уголка свою госпожу. И вот подводит она ко мне женщину, краше всех картин и статуй. Нет слов описать эту красоту: что бы я ни сказал – все будет мало. Кудри, от природы выющиеся, распущены по плечам, лоб не высокий, хотя волосы и зачесаны назад; брови – до самых скул и над переносицей почти срослись; глаза – ярче звезд в безлунную ночь, крылья носа чуточку изогнуты, а ротик подобен устам Дианы, какими придумал их Пракситель. А уж

подбородок, а шея, а руки, а ноги, изящно охваченные золотой перевязью сандалий! Белизной они затмевали паросский мрамор. Тут я впервые презрел свою прежнюю любовь, Дориду...

Как это вышло, что ты сложил оружие, Юпитер,
Сделался сказкой немой, смолк среди небесных богов?
Вот бы когда тебе лоб украсить витыми рогами,
Дряхлую скрыть седину под лебединым пером.
Подлинно здесь пред тобою Даная, коснись ее тела –
И огнедышащий жар члены пронижет твои...

127. Восхищенная этими стихами, она так обворожительно рассмеялась, что мне показалось, будто полная луна выглянула из-за тучи. Затем она, оттеняя слова свои жестами пальчиков, сказала мне:

– Если ты, юноша, не отвергнешь с презрением женщины изящной и лишь в этом году узнавшей, что такое мужчина, – то возьми меня себе в сестры. Я знаю, что у тебя уже есть братец, – я не постыдилась навести о тебе справки, – но что же мешает тебе завести и сестру? Я предлагаю себя на тех же началах; ты же только соблаговоли, когда тебе будет угодно, узнать сладость моих поцелуев.

– Напротив, – отвечаю я, – я умоляю тебя во имя твоей красоты, чтобы ты не погнушалась принять чужеземца в число своих поклонников. И если ты позволишь мне обожать тебя, то найдешь во мне набожного богомольца. А чтобы ты

знала, что не с пустыми руками вступаю я в храм Любви, – я приношу тебе в жертву своего брата!

– Как? Ты ради меня отказываешься от того, без которого не можешь жить? Того, чьи поцелуи держат тебя в рабстве? Кого ты любишь так, как я хотела бы быть любимой тобою?

Когда она это говорила, такая сладость была в ее голосе, такие дивные звуки наполняли воздух, что казалось, будто ветерки доносят согласный хор сирен. Небо надо мной в это время сияло почему-то ярче, чем прежде, и стоял я, охваченный удивлением, пока наконец не захотелось мне спросить об имени богини, на что она тут же ответила:

– Значит, служанка моя не сказала тебе, что меня зовут Киркеей? Я, конечно, не дочь Солнца, и мать моя никогда не могла по своей прихоти задержать бег заходящего светила. Однако если судьба нас соединит, то и у меня будет за что благодарить небеса. Да, сокровенные помыслы какого-то бога руководят нами. Не без причины любит Киркея Полиэна: где ни столкнутся эти два имени, яркий пламень загорается между ними. Так возьми же, если хочешь, меня в объятия. Здесь тебе незачем бояться соглядатая: брат твой далеко отсюда.

Сказав это, Киркея обвила меня нежными, как пух, руками и увлекла за собой на землю, одетую цветами и травами.

Те же цветы расцвели, что древле взрастила на Иде
Мать-земля в тот день, когда дозволенной страстью

Зевс упивался и грудь преисполнил огнем вождельня:
Выросли розы вокруг нас, фиалки и кипер нежнейший,
Белые лилии нам улыбались с лужайки зеленой.
Так заманила земля Венеру на мягкие травы,
И ослепительный день потворствовал тайнам любовным.

Растянувшись рядом на траве, мы играючи обменивались
тысячей поцелуев, стараясь, чтобы наслаждение наше обрело
силу...

* * *

128. – Что же это? – сказала она. – Разве поцелуи мои
так противны? Или мужество твое ослабло от поста? Или,
может быть, от неряшливости подмышки мои пахнут потом?
А если ничего этого нет, то уж не боишься ли ты Гитона?

Краска стыда залила мне лицо, и даже остатка сил я лишился;
все тело у меня размякло, и я пробормотал:

– Царица моя, будь добра, не добивай несчастного: я опон
ен отравую...

* * *

– Хрисиды, скажи мне, но только правду: неужели я так
уж противна? Не причесана, что ли? Или, быть может, ка-
кой-нибудь природный изъян портит мою красоту? Только

не обманывай госпожу свою. Право, не знаю, чем мы с тобой провинились.

Потом, вырвав из рук молчавшей служанки зеркало, она испытала перед ним все ужимки, которые обычны у любящих во время нежных забав, затем отряхнула платье, измявшееся на земле, и поспешно вошла в храм Венеры.

Я же, точно осужденный, точно перепуганный каким-то ужасным видением, принялся спрашивать себя в душе, не были ли услады, которых я только что лишился, просто плодом моего воображения.

Ночь, навевая нам сон, нередко морочит виденьем
Взор обманутый наш: разрытая почва являет
Золото нам, и рука стремится к покраже бесчестной,
Клад золотой унося. Лицо обливается потом;
Ужасом дух наш объят: а вдруг ненароком залезет
Кто-нибудь, сведав про клад, в нагруженную пазуху
вора? –
Но, едва убегут от обманутых чувств сновиденья,
Явь воцаряется вновь, а дух по утерянном плачет
И погружается весь в пережитые ночью виденья...

* * *

[Гитон – Энколпию]

– В таком случае – премного благодарен: ты, значит, лю-

бишь меня на манер Сократа. Даже Алкивиад никогда не вставал таким незапятнанным с ложа своего наставника...

* * *

[Энколпий – Гитону]

129. – Поверь мне, братец: я сам не считаю, не чувствую себя мужчиной. Похоронена часть моего тела, некогда уподоблявшая меня Ахиллу...

* * *

Боясь, как бы кто-нибудь, застав его наедине со мною, не распустил по городу сплетен, мальчик мой от меня убежал и скрылся во внутренней части дома...

* * *

Ко мне в комнату вошла Хрисида и вручила мне от госпожи своей таблички с таким письмом:

«Киркея Полиэну – привет.

Будь я распутницей, я, конечно, принялась бы жаловаться на то, что была обманута; я же, наоборот, даже благодарна твоей слабости, потому что из-за нее я дольше нежилась под сенью наслаждения. Но скажи мне, пожалуйста, как твои

дела и на собственных ли ты ногах добрался до дому: ведь врачи говорят, что расслабленные и ходить не могут. Говорю тебе, юноша, бойся паралича. Ни разу не встречала я столь опасно больного. Ей-богу, ты уже полумертв! И если такая же вялость охватила и колени твои, и руки – пора, значит, тебе посылать за трубачами. Но все равно: хотя ты и нанес мне тяжкое оскорбление, я не откажу страдальцу в лекарстве. Так вот, если хочешь вернуть себе здоровье, проси его у Гитона: три ночи один, и сила вернется к тебе. А что до меня, то мне нечего опасаться: у любого я буду иметь больший успех, чем у тебя. Ни зеркало, ни молва меня не обманывают. Будь здоров, если можешь».

Убедившись, что я прочел все эти издевательства, Хрисидида сказала мне:

– Это может случиться со всяким, особенно в нашем городе, где женщины способны и луну с неба свести... Ведь и от этого можно вылечиться. Ответь только поласковой моей госпоже и искренностью чувства постарайся вернуть ее расположение. Ведь, по правде сказать, с той поры, как ты оскорбил ее, она вне себя.

Я, разумеется, охотно последовал совету служанки и тотчас же начертал на табличках такие слова:

130. «Полиэн Киркее – привет.

Должен сознаться, повелительница, что мне нередко приходилось грешить: ведь я – человек, и еще не старый. Но до сих пор ни разу не провинился я настолько, чтобы заслужить

казнь. Винюсь перед тобою во всем. К чему присудишь, того я и достоин. Я совершил предательство, убил человека, осквернил храм: за эти преступления и требуй возмездия. Захочешь моей смерти – я приду с собственным клинком; если удовлетворишься бичеванием, – я голым прибегу к повелительнице. Не забывай только, что не я пред тобою провинился, а мое оружие. Готовый к бою, я оказался без меча. Не знаю, кто мне его испортил. Может быть, душевный порыв опередил медлительное тело. Может быть, желая слишком многого, я растратил свою страсть на проволочки. Не пойму, что со мною случилось. Вот ты велишь мне остерегаться паралича. Будто может быть паралич сильнее того, который отнял у меня возможность обладать тобою. Но оправдание мое сводится все-таки к следующему: я тебе угрожу, если только позволишь мне исправить свою ошибку».

Отпустив с таким обещанием Хрисиду, я с большею тщательностью принялся за лечение виновного тела: во-первых, не пошел в баню, а ограничился только небольшим обтиранием; затем, наевшись более здоровой пищи, именно луку и улиточьих шеек без соуса, выпил лишь немного чистого вина и, наконец, совершив перед сном очень легкую прогулку, вошел в опочивальню без Гитона. Я боялся даже того, что братец слегка прикоснется ко мне боком, – так хотелось мне помириться с Киркеей.

131. Бодрый духом и телом, поднялся я на следующий день и отправился в ту же платановую рощу, хотя и по-

баивался этого злосчастливого места. Там, под деревьями, я стал ожидать прихода моей провожатой Хрисиды. Побродив некоторое время, я уселся на том самом месте, где сидел накануне, как вдруг она появилась, ведя за собою какую-то старушку. Поздоровавшись со мной, Хрисида сказала:

– Ну-с, привередник, уж не начинаешь ли ты браться за ум?

Тут старуха вытащила из-за пазухи скрученный из разноцветных ниток шнурок и обвязала им мою шею. Затем плюнула, смешала плевков свой с пылью и, взяв получившейся грязи на средний палец, несмотря на мое сопротивление, мазнула меня по лбу...

Произнеся это заклинание, она велела мне плюнуть три раза и трижды бросить себе за пазуху камешки, которые уже были заранее у нее заморожены и завернуты в кусок пурпура; после этого она протянула руку, чтобы испытать мою мужскую силу. В одно мгновение мышцы подчинились приказанию... Старуха, не помня себя от восторга, воскликнула:

– Смотри, моя Хрисида, смотри, какого зайца я подняла на чужую корысть!..

Здесь благородный платан, бросающий летние тени,
Лавры в уборе плодов и трепетный строй кипарисов;
Сосны качают вокруг вершиной, подстриженной ровно.
А между ними журчит ручеек непоседливой струйкой,
Пенится и ворошит он камешки с жалобной песней.
Дивный приют для любви! Один соловей нам свидетель.

И, над лужайкой летя, где фиалки качаются в травах,
Ласточка песни поет, города возлюбившая птица.

Киркея лежала раскинувшись, опираясь беломраморной шеей на спинку золотого ложа, и тихо помахивала веткою цветущего мирта. Увидев меня и, должно быть, вспомнив про вчерашнее оскорбление, она слегка покраснела. Затем, когда она удалила всех и я, повинувшись ее приглашению, сел подле нее на ложе, она приложила к глазам моим ветку и, как бы отгородившись от меня стенкой, сделалась несколько смелее.

– Ну что, паралитик? – сказала она. – Весь ли ты нынче явился ко мне?

– Ты спрашиваешь, вместо того чтобы убедиться самой?

Так ответил я и тут же всем телом устремился к ней в объятия. Она не просила пощады, и я досыта упился поцелуями...

* * *

132. Красота ее тела звала и влекла к наслаждению. Уже то и дело смыкались наши уста и раздавались звонкие поцелуи; уже переплелись наши руки, изобретая всевозможные ласки; уж слились в объятии наши тела, и начали понемногу соединяться и души...

* * *

Потрясенная явным оскорблением, матрона решила отомстить и, кликнув спальников, приказала им бичевать меня. Потом, не довольствуясь столь тяжким наказанием, она созвала прях и всякую сволочь из домашней прислуги и велела им еще и оплевать меня. Я только заслонял руками глаза без единого слова мольбы, ибо сознавал, что терплю по заслугам. Наконец, оплеванного и избитого, меня вытолкали за двери. Вышвырнули и Проселену; Хрисиду высекли. Весь дом опечалился; все начали перешептываться, спрашивать потихоньку друг друга, кто бы это мог нарушить веселое настроение их госпожи...

* * *

Ободренный такой наградой за мои злоключения, я всеми способами постарался скрыть на себе следы побоев, чтобы не развеселить Эвмолпа и не огорчить Гитона. Чтобы не позориться, я ничего не мог придумать, кроме как прикинуться больным; так я и сделал и, улегшись в кровать, всю силу своего негодования обратил против единственной причины всех моих несчастий:

Я трижды потряс грозную сталь, свой нож двуострый,

Но... трижды ослаб, гибкий, как прут, мой стебель вялый:

Нож страшен мне был, в робкой руке служил он плохо.
Так мне не пришлось осуществить желанной казни.
Трус сей, трепеща, стал холодной зимы суровой,
Сам сморщился весь и убежал чуть ли не в чрево,
Ну, просто никак не поднимал главы опальной:
Так был посрамлен выжигой я, удравшим в страхе,
Ввел ругань я в бой, бьющую в цель большей оружья.

Приподнявшись на локоть, я в таких приблизительно выражениях стал поносить упряма:

– Ну, что скажешь, позорище перед людьми и богами?
Грешно даже причислить тебя к вещам мало-мальски почетным! Неужели я заслужил, чтобы ты меня, вознесенного на небо, низринул в преисподнюю? Неужели я заслужил, чтобы ты, отняв у меня цветущие весеннюю свежестью годы, навязал мне бессилие глубокой старости? Лучше уж прямо выдай мне удостоверение о смерти.

Пока я таким образом изливал свое негодование,
Он на меня не глядел и уставился в землю, потупясь,
И оставался, пока говорил я, совсем недвижимым,
Стеблю склоненного мака или иве плакучей подобен.

Покончив со столь недостойной бранью, я тут же стал горячо раскаиваться в своих словах и втайне покраснел оттого, что, забыв всякий стыд, вступил в разговор с частью тела,

о которой люди построже обыкновенно даже и мысли не допускают. Долго я тер себе лоб, пока наконец не воскликнул:

– Да что тут такого, если я во вполне естественных упрехах излил свое горе? Что в том, если мы иной раз браним какую-нибудь часть человеческого тела, желудок, например, или горло, или даже голову, когда она слишком часто болит? Разве сам Улисс не спорит со своим сердцем? А трагики – так те даже глаза свои ругают, точно глаза могут что-нибудь услышать. Подагрики клянут свои ноги, хирагрики – руки, а близорукие – глаза, а кто часто ушибает себе пальцы на ноге, тот винит за всю эту боль собственные ноги.

Что вы, наморщивши лбы, на меня глядите, Катоны?
Не по душе вам пришлась книга моей простоты?
В чистых наших речах веселая прелесть смеется.
Нравы народа поет мой беспорочный язык.
Кто же не знает любви и не знает восторгов Венеры?
Кто воспретит согреть в теплой постели тела?
Правды отец, Эпикур, и сам повелел нам, премудрый,
Вечно любить, говоря: цель этой жизни – любовь...

Нет ничего нелепее глупых человеческих предрассудков и пошлее лицемерной строгости...

* * *

133. Окончив эту декламацию, я позвал Гитона и говорю

ему:

– Расскажи мне, братец, но только по чистой совести, как вел себя Аскилт в ту ночь, когда он тебя у меня выкрал: правда, что он не спал до тех пор, пока наконец тебя не обеспечил? Или же он в самом деле довольствовался тем, что провел всю ночь одиноко и целомудренно?

Мальчик приложил руки к глазам и торжественно поклялся, что со стороны Аскилта ему не было причинено никакого насилия.

* * *

С такую молитвой опустил на одно колено в преддверии храма:

Спутник Вакха и нимф! О ты, что вельем Дионы
Стал божеством над лесами, кому достославный
подвластен
Лесбос и Фасос зеленый, кого в семиречном Лидийском
Чтят краю, где твой храм в твоих воздвигнут Гипепах,
Славного Вакха пестун, услада дриад, помоги мне!
Робкой молитве внемли! Ничьей не запятнанный кровью,
Я прибегаю к тебе. Святынь не сквернил я враждебной
И нечестивой рукой, но, нищий, под гнетом тяжелой
Бедности, я согрешил, и то ведь не всем своим телом.
Тот, кто грешит от нужды, не так уж виновен. Молю я:
Душу мою облегчи, прости мне грех невеликий.

Если ж когда-нибудь вновь мне час улыбнется
счастливый,

Я без почета тебя не оставлю: падет на алтарь твой
Стад патриарх, рогоносный козел, и падет на алтарь твой
Жертва святыне твоей, сосунок опечаленной свинки.
В чашах запенится сок молодой. Троекратно ликуя,
Вкруг алтаря обойдет хоровод хмельной молодежи.

В то время как я произносил эту молитву, в заботе о моем покойнике, в храм вдруг вошла старуха с растрепанными волосами, одетая в безобразное черное платье. Вцепившись в меня рукою, она вывела меня из преддверия храма...

* * *

134. – Какие это ведьмы высосали из тебя твои силы? Уж не наступил ли ты ночью, на перекрестке, на нечистоты или на труп? Даже в деле с мальчиком ты не сумел постоять за себя, но, вялый, хилый и расслабленный, точно кляча на крутом подъеме, ты попусту потратил и труд и пот. Но мало того, что ты сам нагрешил, – ты и на меня навлек гнев богов...

* * *

Я снова покорно пошел за ней, а она потащила меня обратно в храм, в келью жрицы, толкнула на ложе и, схватив

стоявшую около дверей трость, принялась меня ею дубасить. Но и тут я не проронил ни слова.

Если бы палка не разлетелась после первого же удара в куски, что сильно охладило старухин пыл, она бы, верно, и руки мне раздробила, и голову размозжила. Только после ее непристойных прикосновений я застонал и, залившись обильными слезами, склонился на подушку и закрыл голову правой рукой. Расстроенная моими слезами, старуха присела на другой конец кровати и дрожащим голосом стала жаловаться на судьбу, что так долго не посылает ей смерти; и до тех пор она причитала, пока не появилась жрица и не сказала:

– Зачем это вы забрались в мою комнату и сидите, точно над свежей могилой? И это в праздничный день, когда даже носящие траур смеются?

– О Энотея! – ответила ей старуха. – Юноша, которого ты видишь, родился под несчастной звездой: ни мальчику, ни девушке не может он продать своего товара. Тебе никогда еще не приходилось видеть столь несчастного человека... Короче говоря, что ты скажешь о человеке, который с ложа Киркеи встал, не насладившись?

Услышав это, Энотея уселась между нами и долго качала головой.

– Только я одна и знаю, – сказала она, – как излечить эту болезнь. А чтобы вы не думали, что я только языком чешу, – пусть молодчик поспит со мной одну ночь...

Все мне покорно, что видишь ты в мире. Тучная почва,
Лишь захочу я, умрет, без живительных соков засохнув,
Лишь захочу – принесет урожай. Из кремнистых утесов
Нилу подобный поток устремится. Безропотно волны
Мне покоряются все; порывы зефира, умолкнув,
Падают к нашим ногам. Мне подвластны речные течения;
Тигра гирканского бег и дракона полет удержу я.
Что толковать о безделках? Могу я своим заклинаньем
Месяца образ на землю свести и покорного Феба
Бурных коней повернуть назад по небесному кругу:
Вот она, власть волшебства! Быков огнедышащих пламя
Стихло от девичьих чар, и дочь Аполлона Киркея
Спутников верных Улисса заклятьем в свиней обратила.
Образ любой принимает Протей. И с таким же
искусством
С Иды леса я могу низвести в пучину морскую
Или течение рек направить к горным вершинам.

135. Перепуганный столь баснословною похвальбою, я содрогнулся и стал во все глаза глядеть на старуху...

* * *

– Ну, – вскричала Энотея, – повинуйтесь же моей власти!
Сказав это и тщательно вытерев себе руки, она склонилась
над ложем и два раза подряд меня поцеловала...



Затем Энотея поставила посреди алтаря старый жертвенник, насыпала на него доверху горячих углей и, починив с помощью нагретой смолы развалившуюся от времени деревянную чашку, вбила в покрытую копотью стену на прежнее место железный гвоздь, который перед тем, снимая чашу, нечаянно выдернула. Потом она опоясала себя четырехугольным фартуком и, поставив к огню огромный горшок, сняла рогаткой висевший на крюке узел, в котором хранились служившие ей пищей бобы и совершенно иссеченный, старый-престарый кусок какой-то головы. Развязав шнурок, которым затянут был узел, Энотея высыпала часть бобов на стол и велела мне их хорошенько очистить. Повинуясь ее приказанию, я первым делом принялся весьма тщательно отгребать в сторонку те из зерен, на которых кожица была до невозможности загрязнена. Но она, обвиняя меня в медлительности, подхватила всю эту дрянь и прямо зубами так проворно и ловко начала ее обдирать, выплевывая шелуху на пол, что передо мной точно мухи замелькали.

Я изумлялся изобретательности бедноты и тому, какой ловкости можно достигнуть во всяком искусстве:

Там не белела индийская кость, обрамленная златом,
Пыл очей не пленял лощеного мрамора блеском, —

Дар земли ее не скрывал. На плетенке из ивы
Ворох соломы лежал да стояли кубки из глины,
Что без труда немудрящий гончарный станок обработал.
Каплет из кадки вода; из гнутых прутьев корзины
Тут же лежат; в кувшинах следы Лиэевой влаги.
Всюду кругом по стенам, где заткнута в щели солома
Или случайная грязь, понабиты толстые гвозди.
А с переборки свисают тростинок зеленые стебли.
Но еще много богатств убогая хата скрывала:
На закопченных стропилах там связки размякшей
рябины
Между пахучих венков из высохших листьев висели,
Там же сушенный чабрец красовался и гроздья изюма.
Так же выглядел кров Гекалы гостеприимной
В Аттике. Славу ее, поклоненья достойной старушки,
Долгим векам завещала хранить Баттиадова муза.

136. Отделив от головы, которая по меньшей мере была ее ровесницей, немножечко мяса, старуха с помощью той же рогатки принялась подвешивать ее обратно на крюк; но тут гнилой стул, на который она взобралась, чтобы стать выше, вдруг подломился, и она всей своей тяжестью рухнула прямо на очаг. Верхушка стоявшего на нем горшка разбилась, и огонь, который только что стал было разгораться, потух. При этом Энотея обожгла себе о горящую головню локоть и, подняв кверху целое облако пепла, засыпала им себе все лицо.

Я вскочил испуганный, но потом, рассмеявшись, помог

старухе встать... А она, боясь, как бы еще что-нибудь не помешало предстоящему жертвоприношению, немедленно побежала к соседям взять огня...

* * *

Едва лишь я ступил на порог... как на меня тотчас же напали три священных гуся, которые, как видно, обыкновенно в полдень требовали у старухи ежедневного рациона; я прямо затрясся, когда они с отвратительным шипением окружили меня со всех сторон, точно бешеные. Один начал рвать мою тунику, другой развязал ремень у моих сандалий и тербил его, а третий, по-видимому вождь и учитель свирепой ватаги, не постеснялся мертвою хваткой вцепиться мне в икру. Отложив шутки в сторону, я вывернул у столика ножку и вооруженной рукой принялся отражать воинственное животное: не довольствуясь шуточными ударами, я отомстил за себя смертью гуся.

Так же, я думаю, встарь, Стимфалид Геркулесова хитрость

Взмыть заставила вверх; так, Финея обманные яства

Ядом своим осквернив, улетали Гарпии, смрадом

Все обдавая вокруг. Устрашенный эфир содрогнулся

От небывалого крика. Небесный чертог потрясенный...

Два других гуся, лишившись теперь своего, по моему мнению, главаря, стали подбирать бобы, которые упали и рассыпались по всему полу, и вернулись в храм, а я, радуясь добыче и мести, швырнул убитого гуся за кровать и немедленно смочил уксусом не особенно глубокую рану на ноге. Затем, опасаясь, как бы старуха не стала меня ругать, решил удалиться и, собрав свою одежду, уже направился к выходу. Но не успел я переступить порог, как увидел Энотею, которая шла мне навстречу с горшком, наполненным доверху пылающими углями. Итак, пришлось повернуть вспять: сбросив с себя плащ, я стал в дверях, будто ожидал замешкавшуюся старуху.

Высыпав угли на кучу сухого тростника и положив сверху изрядное количество дров, она стала оправдываться, говоря, будто так долго замешкалась потому, что ее приятельница не хотела ее отпустить, не осушив вместе с ней трех положенных чарок.

– Ну, а ты что тут делал, пока меня не было? – вдруг спросила она. – А где же бобы?

Полагая, что мой поступок достоин даже всяческого одобрения, я немедленно рассказал ей по порядку обо всем сражении, а чтобы она не очень уж печалилась, за потерянного гуся предложил ей заплатить. Но, увидев его, старуха подня-

ла такой невероятный крик, что можно было подумать, будто в комнату снова забрались гуси.

Удивленный непонятностью своего преступления, я растерялся и стал спрашивать, почему она так горячится и почему жалеет гуся больше, чем меня.

137. На это она, всплеснув руками, воскликнула:

– И ты, злодей, еще осмеливаешься рассуждать?.. Ты даже не подозреваешь, какое огромное преступление совершил: ведь ты убил Приапова любимца, всем матронам наимприятнейшего. Нет, и не думай, что проступок твой не такой уж тяжелый: если только узнает о нем магистрат, быть тебе на кресте. Ты осквернил кровью мое жилище, до сих пор незапятнанное, и любому из недругов моих дал возможность устранить меня от жречества...

* * *

– Пожалуйста, не кричи, – говорю я ей, – я тебе за гуся страуса дам...

* * *

Энотея села на кровать и, к вящему моему удивлению, продолжала оплакивать несчастную участь гуся, пока наконец не пришла Просолена с деньгами за жертвоприношение.

Увидев убитого и расспросив жрицу о причине ее горя, она принялась рыдать еще горше и причитать надо мной, точно я отца родного убил, а не общественного гуся.

Мне стало наконец нестерпимо скучно, и я воскликнул:

– В конце концов, можно загладить дело моих рук деньгами? Пусть я вас под суд подвел; пусть я даже человека убил! Вот вам два золотых, можете закупить себе сколько угодно гусей и бобов.

– Прости меня, юноша, – заговорила Энотея, лишь только увидела мое золото, – ведь я так беспокоилась исключительно ради тебя. Это было лишь доказательством моего к тебе расположения, а вовсе не враждебности. Постараемся же, чтобы никто об этом не узнал. А ты помолись богам, чтобы они отпустили тебе прегрешение.

Тех, кто с деньгами, всегда подгоняет ветер попутный,
Даже Фортуной они правят по воле своей.

Стоит им захотеть, – и в супруги возьмут хоть Данаю,
Даже Акрисий-отец дочку доверит таким.

Пусть богач слагает стихи, выступает с речами,
Пусть он тяжбы ведет – будет Катона славней.

Пусть, как законов знаток, свое выносит решение –
Будет он выше, чем встарь Сервий иль сам Лабееон.

Что толковать? Пожелай чего хочешь: с деньгой да со
взяткой

Все ты получишь. В мошне нынче Юпитер сидит...

Она поставила под руки мне чашу с вином, заставила меня растопырить пальцы и для очищения потерла их пореем и сельдереем, а потом опустила в вино, читая какую-то молитву, несколько лесных орехов. Судя по тому, всплывали они на поверхность или же падали на дно, она и делала свои предсказания. Но меня нельзя было поддеть на эту удочку: я знал, что орехи пустые, без сердцевины, наполненные только воздухом, всегда плавают на поверхности, а тяжелые, с крепким ядром, непременно должны опуститься на дно...

* * *

Она вскрыла грудь гуся и, вынув здоровенную печень, предсказала по ней мое будущее. Наконец, чтобы уничтожить все следы моего преступления, разрубила гуся на части, насадила их на несколько вертелов и принялась готовить из убитого, который, по ее словам, предназначен был ею для этого еще раньше, великолепное блюдо... А стаканчики чистого вина между тем все опрокидывались да опрокидывались...

* * *

138...Размякшие от вина и похоти, старушонки все же пустились следом и из переулка в переулок гнались за мною,

крича:

– Держи вора!

Однако я улизнул, хоть и раскровянил все пальцы на ногах, когда убегал очертя голову...

* * *

– Хрисиды, которая в прежнем твоём положении даже слышать о тебе не хотела, теперь готова разделить твою судьбу, даже рискуя жизнью...

* * *

– Разве Ариадна или Леда могли сравниться с такою красотой? Что по сравнению с ней и Елена? что – Венера? Если бы Парис, судья одержимых страстью богинь, увидел тогда рядом с ними её лучистые глаза, он отдал бы за неё и Елену, и богинь в придачу. Если бы только мне было позволено поцеловать её, прижать к себе её небесную божественную грудь, то, быть может, вернулись бы силы и воспрянули бы части моего тела, и впрямь, пожалуй, усыпленные каким-то ядом. Оскорбления меня не удручают. Я не помню, что был избит, что меня вышвырнули, считаю за шутку. Лишь бы только снова войти в милость...

* * *

139. Я все время тискал под собою тюфяк, словно держа в объятиях призрак моей возлюбленной...

Рок беспощадный и боги не мне одному лишь враждебны.

Древле Тиринфский герой, изгнанник из царства Инаха,
Должен был груз небосвода поднять, и кончиной своею
Лаомедонт утолил двух богов вредоносную ярость;
Пелий гнев Юнонин узнал; в неведенье поднял
Меч свой Телеф, а Улисс настрадался в Нептуновом
царстве.

Ну, а меня по земле и по глади седого Нерея
Всюду преследует гнев геллеспонтского бога Приапа...

* * *

Я осведомился у моего Гитона, не спрашивал ли меня кто-нибудь.

– Сегодня, – говорит, – никто, а вчера приходила какая-то неплохо одетая женщина; она долго со мной разговаривала и порядком надоела мне своими жеманными речами; а под конец заявила, что ты провинился, и если только оскорбленное лицо будет настаивать на своей жалобе, то ты понесешь

рабское наказание...

* * *

Не успел я еще закончить своих жалоб, как появилась Хрисида; она бросилась мне на шею и, горячо меня обнимая, воскликнула:

– Вот и ты! Таким ты мне нужен. Ты – мой желанный, ты – моя услада! Никогда не потушить тебе этого пламени! Разве что кровью моею зальешь его...

* * *

Внезапно прибежал один из новых слуг Эвмолпа и заявил, что господин наш, за то что я целых два дня уклонялся от службы, сильно на меня рассердился и что я хорошо сделаю, если заблаговременно придумаю какое-нибудь приличное оправдание, так как вряд ли можно надеяться, чтобы бешеный гнев его утих без побоев...

140. Матрона, одна из первых в городе, по имени Филомела, в молодые годы успела уже урвать немалое количество наследств, а когда цвет юности поблек и она обратилась в старуху, стала навязывать бездетным богатым старикам своего сына и дочку – и так, с помощью своего потомства, продолжала заниматься прежним ремеслом.

Так вот, теперь она пришла к Эвмолпу, с тем чтобы поручить его опыту и доброте самое заветное – детей своих... Кроме него, никто во всей вселенной не может ежедневно давать молодежи душеполезные наставления. Словом, она заявила, что оставляет детей своих в доме Эвмолпа, для того чтобы они наслушались его речей, а другого наследства молодым людям и нельзя оставить.

Сказано – сделано. Притворившись, будто уходит в храм принести богам обеты, она прелестнейшую дочку и юного сына оставила в опочивальне.

Эвмолп, который на этот счет был до того падох, что даже я ему казался мальчиком, разумеется, немедленно же предложил девице посвятить ее в некие таинства. Но он всем говорил, что у него и подагра, и поясница расслаблена; так что, не выдержав он роли до конца, рисковал бы испортить нам всю игру...

* * *

– Великие боги, восстановившие все мои силы! Да, Меркурий, который сопровождает в Аид и выводит оттуда души людей, по милости своей возвратил мне то, что было отнято у меня гневной рукой. Теперь ты легко можешь убедиться, что я взыскан щедрее Протесилая и любого из героев древности.

С этими словами я задрал кверху тунику и показал себя

Эвмолпу во всеоружии.

Сначала он даже ужаснулся, а потом, желая окончательно убедиться, обеими руками ощупал дар благодати...

* * *

– Сократ, который и у богов и у людей... гордился тем, что ни разу не заглянул в кабак и не позволял своим глазам засматриваться ни на одно многолюдное сборище. Да, нет ничего лучше, как говорить подумавши.

– Все это истинная правда, – сказал я. – Никто так не рискует попасть в беду, как тот, кто зарится на чужое добро. Но на какие средства стали бы жить плуты и мошенники всякого рода, если бы они не швыряли хоть изредка в толпу в виде приманки кошельков или мешков, звенящих монетами? Как корм служит приманкой для бессловесной скотины, так же точно людей не словишь на одну только надежду, пока они не клюнут на что-нибудь посущественнее...

* * *

141. – Но ведь обещанный тобою корабль с деньгами и челядью из Африки не пришел, и ловцы наследства, уже истощенные, урезали свою щедрость. Словом, если я не ошибаюсь, Фортуна и в самом деле начинает уже раскаиваться...

* * *

— За исключением моих вольноотпущенников, все остальные наследники, о которых говорится в этом завещании, могут вступить во владение того, что каждому из них мною назначено, только при соблюдении одного условия, именно — если они, разрубив мое тело на части, съедят его при народе...

* * *

У некоторых народов, как нам известно, до сих пор еще в силе закон, по которому тело покойника должно быть съедено его родственниками, причем нередко они ругательски ругают умирающего за то, что он слишком долго хворает и портит свое мясо. Пусть это убедит друзей моих безотказно исполнить мою волю и поможет им съесть мое тело с таким же усердием, с каким они препоручат богам мою душу...

* * *

Громкая слава о богатствах ослепляла глаза и души этих несчастных.



Горгий готов был исполнить...

– Мне нечего опасаться противодействия твоего чрева: стоит тебе только пообещать за этот единственный час отращения вознаградить его впоследствии многими прекрасными вещами, – и оно тотчас же подчинится любому приказу. Закрой только глаза и постарайся представить себе, что ты ешь не человеческие внутренности, а миллион сестерциев. Кроме того, мы, конечно, придумаем еще и приправу какую-нибудь, с которой мясо мое станет вкуснее. Да и нет такого мяса, которое само по себе могло бы понравиться; но искусное приготовление лишает его природного вкуса и примиряет с ним противодействующий желудок. Если тебе угодно будет, чтобы я доказал это примером, то вот он: человеческим мясом питались сагунтинцы, когда Ганнибал держал их в осаде, и при этом никакого наследства не ожидали. С петелийцами во время крайнего голода было то же самое: и, поедая такую трапезу, они не гнались ни за чем, кроме насыщения. После взятия Сципионом Нумантии в ней нашли несколько матерей, которые держали у себя на груди полубглоданные трупы собственных детей...